

18+

12

ШЕДЕВРОВ ЭРОТИКИ



Коллектив авторов
12 шедевров эротики

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Коллектив авторов

12 шедевров эротики / Коллектив авторов — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

То, что ранее считалось постыдным и аморальным, сегодня возможно может показаться невинным и безобидным. Но мы уверены, что в наше время, когда на экранах телевизоров и других девайсов не существует абсолютно никаких табу, читать подобные произведения - особенно пикантно и крайне эротично. Ведь возбуждает фантазии и будоражит рассудок не то, что на виду и на показ, - сладок именно запретный плод. "12 шедевров эротики" - это лучшие произведения со вкусом "клубнички", оставившие в свое время величайший след в мировой литературе. Эти книги запрещали из-за "порнографии", эти книги одаривали своих авторов небывалой популярностью, эти книги покорили огромное множество читателей по всему миру. Присоединяйтесь к их числу и вы!

© Коллектив авторов
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

Гюстав Флобер	5
Часть первая	5
I	5
II	10
III	14
IV	17
V	19
VI	21
VII	24
VIII	27
IX	32
Часть вторая	38
I	38
II	42
III	46
IV	51
V	53
VI	58
VII	65
VIII	69
IX	82
X	87
XI	92
XII	98
XIII	106
XIV	111
XV	116
Конец ознакомительного фрагмента.	121

12 шедевров эротики

Гюстав Флобер Госпожа Бовари Провинциальные нравы

*МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ,
члену парижского сословия адвокатов, бывшему председателю
Национального собрания, бывшему министру внутренних дел.*

Дорогой и прославленный друг!

*Позвольте мне во главе этой книги и перед ее посвящением
поставить ваше имя: не кому другому, как вам, обязан я в первую
очередь ее выходом в свет. Сделавшись предметом вашей блестящей
защитительной речи, мой труд для меня самого приобрел некий
новый и неожиданный авторитет. Примите же здесь дань моей
признательности; как бы велика она ни была, ей никогда не стать на
уровень вашего красноречия и вашей преданной дружбы.*

Гюстав Флобер.

Париж, 12 апреля 1857 г.

Луи Буйле

Часть первая

I

Мы готовили уроки, когда вошел директор, а за ним *новичок* в штатском и служитель, который нес большую парту. Задремавшие проснулись, и все вскочили, словно только что оторвались от работы.

Директор знаком велел нам садиться и вполголоса сказал воспитателю:

– Вот, господин Роже, рекомендую вам нового ученика. Он поступает в пятый класс, но, если заслужит своими успехами и поведением, перейдет в *старшие*, как ему подобает по возрасту.

Новичок стоял в уголке за дверью, так что нам был еле виден. Это был деревенский мальчик лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского певчего; вид степенный и очень смущенный. Хотя он был неширок в плечах, но зеленый суконный пиджачок с черными пуговицами явно жал ему в проймах. Из обшлагов высывались красные, непривычные к перчаткам руки. Из-под высоко подтянутых на поясе панталон желтоватого цвета виднелись синие чулки. Башмаки были грубые, плохо вычищены, подбиты гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок ловил каждое слово и слушал внимательно, точно проповедь в церкви, не смея ни облокотиться, ни заложить ногу за ногу. В два часа, когда зазвенел колокольчик, воспитателю пришлось позвать его: сам он не стал с нами в пары.

У нас был обычай, входя в класс, бросать каскетки на пол, чтобы поскорее освободить руки. Кидать каскетку полагалось еще с порога, старались швырнуть ее под лавку и об стену, чтобы поднять побольше пыли. Такова была наша *манера*.

Но то ли новичок не заметил этого приема, то ли не посмел повторить его за нами, во всяком случае молитва уже давно кончилась, а он все еще держал свою каскетку на коленях. Это был сложный головной убор, соединявший в себе элементы и гренадерской шапки, и уланского кивера, и круглой шляпы, и мехового картуза, и ночного колпака, – словом, одна из тех уродливых вещей, немое безобразие которых так же глубоко выразительно, как лицо идиота. Яйцевидный, распяленный на китовом усе, он начинался ободком из трех валиков, похожих на колбаски; дальше шел красный околыш, а над ним – несколько ромбов из бархата и кроличьего меха; верх представлял собою что-то вроде мешка, к концу которого был приделан картонный многоугольник с замысловатой вышивкой из тесьмы, и с этого многоугольника спускался на длинном тоненьком шнурочке подвесок в виде кисточки из золотой канители. Каскетка была новенькая, с блестящим козырьком.

– Встаньте! – сказал учитель.

Новичок встал, каскетка упала на пол. Весь класс захохотал.

Новичок нагнулся и поднял каскетку. Сосед подтолкнул ее локтем, она упала; он поднял ее еще раз.

– Да отделайтесь вы от своей каски! – сказал учитель: он был человек остроумный.

Школьники так и покатались со смеху, а бедный мальчик совсем растерялся и уже не знал, держать ли ему каскетку в руке, бросить ли ее на пол, или надеть на голову. Наконец он сел и положил ее на колени.

– Встаньте, – повторил учитель, – и скажите, как ваша фамилия.

Новичок, запинаясь, пробормотал что-то совершенно неразборчивое.

– Повторите!

Снова послышалось бормотанье, заглушенное хохотом и улюлюканьем всего класса.

– Громче! – закричал учитель. – Громче!

И тогда новичок непомерно широко разинул рот и с отчаянной решимостью, во все горло, словно он звал кого-то, кто был далеко, завопил: «Шарбовари!» Оглушительный шум поднялся в ту же секунду и все нарастал мощным *crescendo*¹ со звонкими выкриками (мы ревели, выли, топали ногами, беспрестанно повторяя: «Шарбовари, Шарбовари!»), потом он распался на отдельные голоса и никак не мог улечься, то и дело пробегая по всему ряду парт, вспыхивая там и сям приглушенным смешком, словно не до конца погасшая шутиха.

Но вот под градом наказаний понемногу восстановился порядок, и учитель, наконец, разобрал слова: «Шарль Бовари», заставив новичка продиктовать себе это имя, произнести его по буквам и вновь перечитать, а затем приказал бедняге сесть на «скамью лентяев» у самой кафедры. Новичок двинулся с места, но тут же в нерешительности остановился.

– Что вы ищете? – спросил учитель.

– Кас... – робко начал было новичок, озираясь вокруг беспокойным взглядом.

– Пятьсот строк всему классу.

Этот яростный окрик, подобно грозному «*Quos ego!*»,² остановил новый взрыв.

– Да успокойтесь же наконец! – с негодованием добавил учитель и, вытащив из-под шапочки платок, отер пот со лба. – А вы, новичок, двадцать раз письменно проспрягаете «*ridiculus sum*».³

И более ласковым голосом сказал:

– Ну, найдется ваша каскетка. Никто ее не украл.

Наконец наступила полная тишина. Головы склонились над тетрадями, а новичок просидел все два часа в самой примерной позе, хотя время от времени ему и попадали в лицо

¹ Музыкальный термин, означающий постепенное усиление звучности (*итал.*).

² Вот я вас! (*лат.*).

³ Я смешон (*лат.*).

ловко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Но он только отирал рукой брызги и продолжал сидеть совершенно неподвижно, опустив глаза.

Вечером, когда пришло время готовить уроки, он вынул из парты нарукавники, разобрал все свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы глядели, как добросовестно он работал, старательно проверяя все по словарю. Должно быть, только благодаря этому неподдельному усердию он и не остался в младшем классе: грамматические правила он знал неплохо, но в оборотах его речи не было никакого изящества. Жалея деньги, родители постарались отдать его в коллеж как можно позже, и начаткам латыни он учился у деревенского священника.

Отец его, отставной военный фельдшер, г-н Шарль-Дени-Бартоломе Бовари около 1812 года скомпрометировал себя в какой-то истории с рекрутским набором, был вынужден покинуть службу и воспользовался своими личными качествами, чтобы мимоходом подцепить приданое в шестьдесят тысяч франков, которое давал за дочь владетель шляпного магазина. Девушка влюбилась в его фигуру. Красавец-мужчина и краснбай, он звонко щелкал шпорами и носил усы с подусниками; на пальцах у него всегда сверкали перстни, одевался он в яркие цвета и вид имел самый бравый, отличаясь при этом живостью и развязностью коммивояжера. Женившись, г-н Бовари два-три года проживал приданое: хорошо обедал, поздно вставал, курил длинные фарфоровые трубки, каждый вечер бывал в театре и часто ходил в кафе. Потом тесть умер и оставил сущие пустяки; г-н Бовари вознегодовал, увлекся *фабричным производством*, чуть не разорился и удалился в деревню, чтобы здесь себя проявить. Но так как в земледелии он понимал не больше, чем в ситцах, так как лошадей он отрывал от пахоты и катался на них верхом, а вместо того чтобы продавать сидр бочками, сам пил его бутылками; так как лучшую птицу своего птичника он съедал, а салом своих свиней смазывал охотничьи сапоги, то вскоре ему пришлось убедиться, что рассчитывать на хозяйство не приходится.

И вот за двести франков в год он снял в одной деревушке, на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и барской усадьбой, и сорока пяти лет от роду засел там, снедаемый тоской и досадой, ропща на бога и завидуя всем на свете. Он говорил, что разочаровался в людях и решил доживать век на покое.

Жена когда-то была от него без ума. Она любила его рабски, и это только отдаляло его от нее. Смолоду веселая, оживленная и любящая, она с годами стала раздражительной, плаксивой и нервной: так вино, выдыхаясь, превращается в уксус. Сколько выстрадала она, не жалуясь, в первое время, когда муж бегал за каждой деревенской девчонкой, а по вечерам приходил домой из каких-то притонов, – приходил пресыщенный, пропахший вином! Но потом в ней пробудилась гордость. Тогда она умолкла, затаила злобу и замкнулась в немом стоицизме, который хранила до самой смерти. Вечно она была в бегах, в хлопотах. Это она ходила к адвокатам, к председателю суда, она помнила сроки векселей, добивалась продления; дома она гладила, шила, стирала, следила за работниками, расплачивалась по счетам. А в это время ее супруг, ни о чем не заботясь и постоянно пребывая в брюзгливой полудремоте, которую он прерывал только для того, чтобы говорить жене неприятности, спокойно сидел у камина, покуривая трубку и сплевывая в золу.

Когда у г-жи Бовари родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Когда же мальчугана взяли снова домой, то стали баловать, как маленького принца. Мать закармливала его сладостями, отец позволял ему бегать босиком и даже, изображая из себя философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голым, как ходят детеныши животных. Наперекор нежным заботам матери, отец выдумал какой-то мужественный идеал детства, согласно которому и пытался развивать сына. Ему хотелось воспитывать мальчика сурово, по-спартански, закалить его здорье. Он заставлял его спать в нетопленной комнате, приучал пить большими глотками ром и издеваться над религиозными процессиями. Но смирный от природы мальчик плохо вознаграждал отцовские усилия. Мать повсюду таскала его за собой, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, исполненных грустного

веселья и болтливой нежности. В своем вечном одиночестве она перенесла на ребенка все свои разбитые, рассеянные жизнью честолюбивые мечтания. Она придумывала для него высокие посты, он грезился ей взрослым, красивым, остроумным, отлично пристроенным в ведомстве путей сообщения или в суде. Она выучила его читать и даже петь два-три романса, аккомпанируя себе на стареньком фортепиано. Но г-н Бовари об учености заботился мало и говорил, что *все это ни к чему*. Разве у них когда-нибудь хватит средств, чтобы содержать сына в казенной школе, купить ему должность или торговое дело? К тому же *дорогу и так всегда пробить можно – только не плошай*. Г-жа Бовари молчала, закусив губы, а ребенок бегал по деревне.

Он уходил с работниками на пашню, гонял ворон, швырял в них комьями земли. Он рвал по оврагам тутовые ягоды, пас с хворостинной индюшек, ворошил сено, бегал по лесу, играл в дождливые дни на крытой церковной паперти в «котел», а по праздникам выпрашивал у пономаря разрешение позвонить в колокол и, повиснув всем телом на толстой веревке, уносился с нею в полете.

Так рос он, словно молодой дубок. У него были крепкие руки и румянец во всю щеку.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать добилась, чтобы его начали учить. Это дело поручили священнику. Но уроки были так коротки и нерегулярны, что толку от них оказалось немного. Давались они урывками, когда выпадало время, в ризнице, стоя и наспех, в свободные минуты между крещениями и погребениями, а иногда кюре посылал за учеником после вечерней службы, – в том случае, если ему никуда не надо было идти. Он поднимался с мальчиком в свою комнату, оба усаживались за стол; мошки и ночные бабочки носились вокруг свечи; было жарко, дремота одолевала ребенка, а добродушный старик начинал похрапывать, разинув рот и сложив руки на животе. Иной раз господин кюре, возвращаясь со святыми дарами от какого-нибудь больного, замечал распалившегося мальчика в поле. Он подзывал Шарля, читал ему длинное нравоучение и, пользуясь случаем, предлагал тут же, под деревом, проспрягать латинский глагол. Вскоре неожиданная встреча или начавшийся дождь прерывали урок. Впрочем, учитель был всегда доволен учеником и даже говорил, что у этого юноши отличная память.

Так дальше продолжаться не могло. Г-жа Бовари проявила большую настойчивость. Г-н Бовари, пристыженный или, скорее, утомленный, уступил ей без сопротивления, и с первым причастием мальчугана решили подождать еще год.

Прошло шесть месяцев, и в следующем году Шарля, наконец, отдали в руанский коллеж. В конце октября, во время ярмарки на святого Ромена, отец лично отвез его туда.

Сейчас никто из нас ничего не мог бы вспомнить о Шарле Бовари.

Это был мальчик уравновешенный: на переменах он играл; когда приходило время, готовил уроки; в классах внимательно слушал, в дортуаре крепко спал, в столовой ел с аппетитом. В отпуск он ходил к оптовому торговцу-скобянику на улице Гантери: тот брал его из коллежа раз в месяц, по воскресеньям, когда лавка была уже закрыта, и посылал на набережную погулять, поглядеть на корабли, а ровно в семь часов, перед ужином, приводил обратно в училище. Каждый четверг Шарль писал вечером матери длинное письмо, писал красными чернилами и запечатывал тремя облатками; потом он выправлял свои тетради по истории или читал истрепанный том «Анахарсиса», валявшийся в комнате для занятий. На прогулках он разговаривал со служителем, который был, как и он, из деревни.

Благодаря прилежанию он всегда держался в числе средних учеников, а один раз даже получил первую награду по естественной истории. Но в конце третьего года обучения родители взяли его из коллежа, чтобы он изучал медицину: они были уверены, что степени бакалавра Шарль добьется собственными силами.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она договорилась с хозяином о пансионе, раздобыла сыну мебель – стол и два стула, выписала из деревни старую кровать вишневого дерева и, сверх того, купила чугунную печурку с запасом

дров, чтобы бедному мальчику не было холодно. И через неделю уехала домой, снабдив Шарля тысячью советов вести себя как следует, – ведь теперь он предоставлен самому себе.

Программа занятий, с которой Шарль познакомился, произвела на него впечатление ошеломляющее: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармации, курс химии, и ботаники, и клиники, и терапевтики, не считая гигиены и энциклопедии медицины. Он не знал происхождения этих слов, и каждое казалось ему дверью в некое святилище, исполненное величественного мрака.

Шарль не мог во всем этом разобраться. Сколько ни слушал он профессоров, до него не доходило ни слова. И все-таки он продолжал трудиться – завел толстые тетради в переплетах, посещал все лекции, не пропускал ни одного медицинского обхода. Он выполнял свои скромные обязанности, словно рабочая лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу и сама не знает, что делает.

Чтобы избавить сына от лишних трат, мать еженедельно посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины. Этой телятиной он завтракал по утрам, вернувшись из больницы, и при этом, стараясь согреться, топал ногами. Потом надо было бежать на лекции, в анатомический театр, к больным и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у квартирного хозяина, Шарль уходил к себе в комнату, снова садился за учение около докрасна раскаленной печурки, и пар поднимался от его отсыревшей одежды.

В погожие летние вечера, в час, когда улицы пустеют и служанки играют у ворот в волан, он распахивал окно и облокачивался на подоконник. Прямо под ним, между мостами и решетками набережной, текла река, то желтая, то лиловая, то голубая, превращавшая эту часть Руана в жалкое подобие Венеции. Кое-где у самой воды сидели на корточках рабочие и мыли руки. На жердях, высывавшихся из чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. А перед ним, над крышами, простиралось огромное безоблачное небо и заходило багровое солнце. Как, должно быть, хорошо на той стороне! Какая прохлада в буковых рощах! И Шарль раздувал ноздри, словно вдыхая милые деревенские запахи, которые до него не долетали.

Он похудел, вытянулся, лицо его приняло несколько грустное выражение и сделалось почти интересным.

Кончилось тем, что он совершенно естественно, по простой небрежности, изменил всем своим благим намерениям. Как-то раз он пропустил демонстрацию больного, на другой день – лекцию и, наслаждаясь праздностью, понемногу совсем перестал ходить на занятия.

Он привык посещать кабачки, пристрастился к домино. Садиться каждый вечер в грязноватом зальце питейного заведения и стучать по мраморному столику костяшками с черными очками казалось ему драгоценным актом независимости. От этого повышалось его самоуважение. Это было для него как бы вступлением в мир, первым прикосновением к запретным радостям; входя в кабачок, он брался за дверную ручку с наслаждением, – почти чувственным. И многое, что прежде было подавлено, распустилось в нем пышным цветом: он затвердил наизусть немало куплетов и пел их на дружеских пирушках, он проникся энтузиазмом к Беранже, научился делать пунш и, наконец, познал любовь.

Благодаря таким подготовительным занятиям Шарль с треском провалился во время выпускных экзаменов на звание санитарного врача. В этот самый день его ждали к вечеру дома, чтобы достойно отпраздновать успехи!

Он отправился домой пешком, остановился у околицы, послал за матерью и рассказал ей все. Она простила его, приписала провал несправедливости экзаменаторов, взялась сама все устроить и немного подбодрила сына.

Отец узнал истину только через пять лет; она успела потерять остроту, и г-н Бовари примирился с нею. Впрочем, он никогда не мог бы представить себе, что его отпрыск оказался тупицей.

Итак, Шарль снова принялся за работу и, уже не отрываясь, готовился к экзаменам. Он выучил все вопросы программы наизусть и получил довольно хорошие отметки. Какой прекрасный день для матери! Дома устроили званый обед.

Где же ему теперь применять свое лекарское искусство? В Тосте! Там был всего один врач, да и тот старик. Г-жа Бовари давно поджидала его смерти, и не успел еще добряк убраться на погост, как Шарль уже поселился напротив его дома в качестве преемника.

Но воспитать сына, дать ему медицинское образование и найти город Тост, где он мог бы применять его на деле, – это еще далеко не все: молодому человеку нужна была жена. И мать подыскала ему невесту – вдову судебного пристава из Дьеппа, женщину сорока пяти лет, но с годовым доходом в тысячу двести ливров.

Хотя г-жа Дюбюк была безобразна, суха, как палка, и вся прыщеватая, недостатка в женихах у нее не было. Чтобы добиться своей цели, г-же Бовари пришлось всех устранить: она ловко расстроила даже происки одного колбасника, которого поддерживали священники.

Шарль думал, что брак улучшит его положение; он воображал, что станет свободнее, будет сам располагать собою и своими деньгами. Но супруга прибрала его к рукам; ему пришлось взвешивать на людях каждое свое слово, поститься по пятницам, одеваться по жениному вкусу, донимать по ее приказу тех пациентов, которые задерживали плату. Жена распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал больных женщин, подслушивала у перегородки. По утрам ей непременно нужен был шоколад, каждую минуту требовались бесконечные знаки внимания. Она постоянно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на плохое самочувствие; шума шагов она не выносила. Муж уходил – ее терзало одиночество; муж возвращался – уж конечно, он хотел полюбоваться картиной ее смерти. Вечером, когда Шарль приходил домой, она вытаскивала из-под одеяла свои длинные тощие руки, обнимала его за шею, заставляла сесть к ней на кровать и принималась изливаться свои горести: он ее забыл, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна!.. И кончала неизменной просьбой: немного какого-нибудь лечебного сиропа и чуть-чуть побольше любви.

II

Однажды ночью, около одиннадцати часов, супругов разбудил конский топот. Лошадь остановилась у самого крыльца. Служанка открыла на чердаке слуховое окошечко и вступила в переговоры с верховым, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором; у него было с собой письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отпирать замки, отодвигать засовы. Приезжий слез с лошади и, следуя за служанкой по пятам, вошел в спальню. Вытащив из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпочку письмо, он почти-точно передал его Шарлю. Тот оперся локтем на подушку и принялся читать. Настази стояла со свечкой у самой кровати. Барыня, застыдившись, повернулась к стенке, спиной к постороннему.

Письмо было запечатано маленькой печатью синего сургуча. В нем г-на Бовари умоляли немедленно приехать на ферму Берто и помочь человеку, который сломал себе ногу. Но от Тоста до Берто – через Лонгвиль и Сен-Виктор – было добрых шесть льё. Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Г-жа Бовари-младшая боялась, как бы с мужем не случилось чего по дороге. Поэтому было решено, что конюх, привезший письмо, отправится вперед, а Шарль поедет через три часа, когда взойдет луна. Хозяева вышлют ему навстречу мальчишку показать дорогу и отпереть ворота.

Около четырех часов утра Шарль, плотно закутавшись в плащ, отправился в путь. Еще не очнувшись от сна в теплой постели, он дремал, убаюкиваемый спокойной рысцой лошади. Когда она вдруг останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие выкапывают на краю поля, Шарль сразу просыпался, вспоминал о сломанной ноге и начинал восстанавли-

вать в памяти все известные ему виды переломов. Дождь перестал; начинало светать, и птицы, взъерошив перышки под холодным ночным ветром, недвижно сидели на голых ветвях яблонь. Кругом уходили в бесконечность ровные поля, и только редкие, далеко разбросанные фермы выделялись фиолетовыми пятнами рощиц на этой серой равнине, сливавшейся у горизонта с хмурым небом. Время от времени Шарль открывал глаза; но усталость одолевала, дрема клонила его, и он снова впадал в какой-то полусон, в котором недавние впечатления перемешивались со старыми воспоминаниями: он ощущал какую-то раздвоенность, был одновременно и студентом, и женатым человеком; лежал в постели, как только что, и проходил по хирургической палате, как в прежние времена. Горячий запах припарок сливался в его голове со свежим запахом росы; он слышал лязг железных колец полого по медным прутьям над кроватями больных и дыхание спящей жены... Проезжая Вассонвиль, он увидел мальчика, сидевшего на траве у канавы.

– Вы доктор? – спросил мальчик.

И, получив утвердительный ответ, взял в руки свои деревянные башмаки и побежал впереди него.

По пути врач из рассказов своего провожатого понял, что г-н Руо весьма зажиточный земледелец, ногу он сломал накануне вечером, возвращаясь от соседа с крещенского пирога. Два года назад он овдовел. Теперь при нем осталась только дочка-*барышня*, которая и помогала ему по хозяйству.

Колеи дороги стали глубже. Врач подъехал к Берто. Тут мальчик, юркнув в какую-то лазейку, скрылся за изгородью, вынырнул во дворе и отпер ворота. Лошадь скользила по мокрой траве. Шарль нагибался, проезжая под нависшими ветвями. Псы заливались у конур, отчаянно натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь испугалась и метнулась в сторону.

Ферма была в хорошем состоянии. В открытые ворота конюшен виднелись крупные рабочие лошади: они спокойно жевали сено из новеньких решетчатых кормушек. Вдоль строений тянулась огромная навозная куча, и от нее поднимался пар, а поверху, среди индюшек и кур, бродили, подбирая корм, пять или шесть павлинов – гордость кошских фермеров. Овчарня была длинная, рига высокая, с чистыми и гладкими стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга. И тут же висели кнуты, хомуты, вся сбруя с синими шерстяными потниками, осыпанными мелкой трухой, которая налетала с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор отлого поднимался в гору, и у прудика раздавалось веселое гоготанье гусиного стада.

Навстречу г-ну Бовари из дома вышла молодая женщина в синем мериновом платье с тремя оборками. Она повела доктора на кухню, где был разведен яркий огонь. Вокруг него в больших и маленьких котелках варился завтрак для работников. В камине сушилась промокшая одежда. Кочерга, каминные щипцы и горло поддувального меха – все это огромных размеров – сверкали, как полированная сталь, а вдоль стен тянулась батарея начищенной до блеска кухонной посуды, в которой неровно отсвечивали яркое пламя очага и первые солнечные лучи, проникавшие в окно.

Шарль поднялся на второй этаж к больному. Тот лежал под одеялами весь в поту, откинув в сторону ночной колпак. Это был маленький толстенький человечек лет пятидесяти, с белой кожей, голубоглазый, лысый со лба и в серьгах. На стуле рядом с кроватью стоял большой графин водки, из которого он время от времени наливал себе для храбрости по рюмочке. Но когда больной увидел врача, все его возбуждение сразу исчезло, и, перестав ругаться (а ругался он уже двенадцать часов подряд), бедняга принялся тихонько и жалобно стонать.

Перелом оказался самый простой, без малейших осложнений. Ничего лучшего Шарль не мог бы и желать. И вот, припомнив, как вели себя в присутствии раненых его учителя, он стал подбадривать пациента всяческими шуточками – хирургическим остроумием, подобным маслу, которым смазывают ланцеты. Из-под навеса, где стояли телеги, принесли связку дранок

на лубки. Шарль выбрал дранку, расщепил ее на полоски и поскоблил осколком стекла; в это время служанка рвала простыню на бинты, а мадмуазель Эмма с величайшим усердием шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец рассердился; не отвечая ни слова на его упреки, она торопливо шила, то и дело колола себе пальцы и тут же подносила руку ко рту, высасывая кровь.

Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие и узкие на концах, отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в форме миндалин. Однако руки у девушки были не очень красивы, – пожалуй, недостаточно белы и слишком сухи в суставах; да и вообще они были длинноваты, лишены мягкой округлости в очертаниях. Но зато действительно прекрасны были глаза – темные, от длинных ресниц казавшиеся черными, – и открытый, смелый и доверчивый взгляд.

После перевязки сам г-н Руо предложил доктору *закусить на дорожку*.

Шарль спустился в залу. Там на маленьком столике, подле кровати с балдахином и полом из набойки, на которой были изображены турки, стояли два прибора и серебряные стаканчики. Из высокого дубового шкафа, помещавшегося против окна, пахло ирисом и свежим полотном. По углам стояли на полу мешки с пшеницей – излишек, которому не хватало места в соседней кладовой, куда вели три каменных ступеньки. На стене, покрашенной в зеленую краску и немного облупившейся от селитры, висело на гвоздике украшение комнаты – голова Минервы в золотой рамке, рисованная углем. Вдоль нижнего края картинка шла надпись готическими буквами: «Дорогому папочке».

За закуской говорили сначала о больном, потом о погоде, о сильных холодах, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадмуазель Руо очень невесело живет в деревне, особенно теперь, когда ей приходится вести одной все хозяйство. В зале было холодно, девушка слегка дрожала, и от этого приоткрывались ее пухлые губки. У нее была привычка прикусывать их в минуты молчания.

Белый отложной воротничок низко открывал ее шею. Ее черные волосы разделялись тонким пробором, спускавшимся к затылку, на два бандо, так гладко зачесанных, что они казались цельным куском; едва закрывая уши, они были собраны сзади в пышный шиньон и оттеняли виски волнистой линией; такую линию сельский врач видел впервые в жизни.

Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Перед отъездом Шарль зашел проститься с папашей Руо, затем вернулся в залу, где барышня стояла у окна и глядела в сад на поваленные ветром тычинки для бобов. Она обернулась и спросила:

– Вы что-то потеряли?

– Да, хлыстик, с вашего разрешения, – отвечал Шарль и стал разыскивать на кровати, за дверью, под стульями.

Хлыст завалился к стене за мешки. Мадмуазель Эмма увидела его первая и нагнулась над мешком пшеницы. Шарль любезно поспешил на помощь, потянулся одновременно с ней и вдруг почувствовал, как его грудь прикоснулась к спине наклонившейся впереди него девушки. Она выпрямилась и, вся покраснев, взглянула на него через плечо, подавая ему хлыст.

Шарль обещал навестить больного через три дня, но вместо того явился на следующий же день, а потом зачастил по два раза в неделю, да еще время от времени приезжал вне очереди, словно по забывчивости.

А между тем все шло отлично. Выздоровление подвигалось по всем правилам, и когда спустя сорок шесть дней дядюшка Руо попробовал ходить по своей *лачуге* без посторонней помощи, за г-ном Бовари стала утверждаться слава очень способного человека. Дядюшка Руо говорил, что лучше, чем он, не умеют лечить первейшие врачи в Ивето и даже в Руане.

Шарль и не пытался понять, почему ему так нравилось бывать в Берто. Если бы он подумал об этом, то, всего вернее, приписал бы свое усердие серьезности медицинского случая, а может быть, и надежде на хороший гонорар. Но действительно ли по этой причине посещение фермы было каким-то счастливым исключением из всех будничных занятий его жизни? Собираясь в Берто, он вставал раньше обычного, по дороге пускался галопом, погонял коня, а, не доезжая фермы, соскакивал с седла, вытирал сапоги о траву и натягивал черные перчатки. Он полюбил въезжать на широкий двор, плечом открывая ворота, полюбил пение петуха, взлетающего на ограду, и выбегающих навстречу батраков. Он полюбил ригу и конюшни, полюбил дядюшку Руо, который размашисто хлопал его по ладони, называя своим спасителем, он полюбил стук маленьких деревянных башмачков мадмуазель Эммы по чисто вымытым каменным плиткам кухонного пола. От высоких каблуков девушка казалась немного выше, и когда она шла впереди врача, деревянные подошвы быстро подскакивали кверху и сухо шелкали о кожу ботинок.

Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь еще не была подана, они вместе ждали ее здесь. Они прощались в доме и больше уже не разговаривали; свежий ветер, обвеяв девушку, трепал выбившиеся волоски на затылке или играл завязками передника, которые бились на ее бедрах, как флажки. Однажды, в оттепель, сочилась кора деревьев в саду, таял снег на крышах построек. Она стояла на пороге дома, потом пошла за зонтиком, открыла его. Пронизанный солнцем сизый шелковый зонт отбрасывал на ее белое лицо пляшущие цветные блики. А она улыбалась мягкому теплу, и слышно было, как падают капли на натянутый муар.

Когда Шарль только еще начал ездить в Берто, г-жа Бовари-младшая не забывала осведомляться о здоровье г-на Руо и даже отвела ему в своей приходе-расходной книге большую чистую страницу. Но узнав, что у него есть дочь, она навела справки; оказалось, что мадмуазель Руо обучалась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, *блестящее воспитание*, что, следовательно, она танцует, рисует, вышивает, знает географию и немного играет на фортепиано. Это было уж слишком!

«Так вот почему, – думала г-жа Бовари, – вот почему он так и сияет, когда собирается к ней! Вот почему он надевает новый жилет и даже не боится попасть в нем под дождь. О, эта женщина! Эта женщина!..»

И г-жа Бовари инстинктивно возненавидела девушку. Сначала она отводила душу намеками, – Шарль их не понимал. Потом принялась за рассуждения, будто случайные, – Шарль, боясь бури, пропускал их мимо ушей. И, наконец, перешла к нападениям в упор; но Шарль молчал и тут, не зная, что отвечать. И зачем это он все ездит в Берто, когда г-н Руо уже выздоровел, а денег за лечение эти люди еще не заплатили? Еще бы, там ведь есть одна *особа*, она умеет поддерживать разговор, она рукодельница, она умница! Он это любит – подавай ему городских барышень...

– Дочка дядюшки Руо – и вдруг городская барышня! – начинала она снова. – Скажите пожалуйста! Дед ее был пастух, а какой-то родственник чуть не попал под суд за то, что во время спора затеял драку. Нечего ей так задирать нос и по воскресеньям ходить в церковь в шелковом платье, словно она графиня. Бедный дядюшка Руо! Не будь в прошлом году урожая на репу, ему бы никак не выплатить недоимки!

Шарлю надоело все это, и он прекратил визиты в Берто. После бесконечных слез и поцелуев Элоиза в великом порыве любви заставила его поклясться на молитвеннике, что он туда больше никогда не поедет. Итак, он покорился; но смелость желания бунтовала в нем против его рабского поведения. Простодушно лицемеря перед самим собой, он рассудил, что запрет видеть Эмму окончательно утверждает за ним право любить ее. К тому же вдова была сухопара, зубы у нее были лошадиные, во всякую погоду она носила коротенькую черную шаль, и кончик этой шали топорщился у нее между лопатками. Она скрывала свой костлявый стан ста-

ромодными платьями, напоминавшими покроем чехол, и такими короткими, что из-под юбки постоянно были видны лодыжки в серых чулках, на которых переплетались завязки неуклюжих туфель.

Время от времени супругов навещала мать Шарля. Невестка в несколько дней заставила ее плясать под свою дудку, и вот обе принялись сообща пилить его, донимая всяческими рассуждениями и замечаниями. Напрасно он так много ест. Зачем угощать вином всякого, кто бы ни пришел? Какое бессмысленное упрямство – никогда не носить фланелевого белья!

А весной ингувильский нотариус, у которого хранилось все состояние вдовы Дюбюк, отбыл с первым попутным ветром, захватив с собой все суммы, какие были у него в конторе. Правда, у Элоизы еще остались деньги – доля, вложенная ею в корабль, которая исчислялась в шесть тысяч франков, и дом на улице Сен-Франсуа, но в сущности она из всего своего хвального состояния принесла в хозяйство только немного мебели да кой-какие тряпки. Пришлось вывести дело на чистую воду. Оказалось, что дом в Дьеппе заложен и перезаложен от крыши до фундамента; сколько увез с собой нотариус, одному богу было известно, а доля в судне никак не превышала тысячи экю. Словом, она все врала, эта милая особа!.. Г-н Бовари-отец сломал стул о каменный пол – так негодовал он на жену: ведь она своими руками погубила сына, спутала его с этой клячей, у которой сбруя не лучше шкуры. Старики явились в Тост. Последовало объяснение. Разразилась жестокая сцена. Элоиза, вся в слезах, бросилась Шарлю на шею, умоляя защитить ее. Ему пришлось вступиться. Родители обиделись и уехали.

Но удар был уже нанесен. Спустя неделю у Элоизы, в то время, когда она развешивала во дворе белье, пошла горлом кровь, а на другой день, когда Шарль отвернулся, чтобы задернуть оконную занавеску, она сказала: «Ах, боже мой», вздохнула и лишилась чувств. Она умерла. Удивительно!

Когда на кладбище все кончилось, Шарль вернулся домой; внизу никого не было; он поднялся в спальню, увидел платье жены, висевшее в ногах кровати. И тогда, облокотившись на письменный стол, в тяжелом раздумье он просидел до самого вечера. Все-таки она его любила.

III

Однажды утром дядюшка Руо привез Шарлю плату за свою вылеченную ногу – семьдесят пять франков монетами по сорока су и откормленную индюшку. Он слышал о несчастье молодого человека и стал утешать его, как умел.

– Я знаю, что это такое, – говорил он, хлопая его по плечу. – Со мной ведь было то же самое. Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поля, чтобы только не видеть людей; бросишься там на землю у какого-нибудь дерева и плачешь, призываешь господа бога, говоришь ему всякие глупости. Увижу, бывало, на ветке крота – висит, а черви так и кишат у него в животе, – и вот завидую ему, хочу издохнуть. А как вспомню, что другие в это время обнимаются со своими милыми женушками, так и начну изо всех сил колотить палкой по земле. Совсем помешался, даже есть перестал: вы не поверите, от одной мысли о кофейне мне становилось тошно. И что ж, потихоньку да полегоньку, день за днем, за зимой весна, а за летом осень – и по капельке, по крошечке все ушло! Все утекло, все минуло... или, вернее сказать, утихло: ведь в глубине души все-таки что-то остается, вроде тяжести какой-то вот здесь, на сердце!.. Но раз уж такая наша судьба, то не стоит понапрасну изводить себя, не следует желать себе смерти из-за того, что умер близкий человек... Пора вам встряхнуться, господин Бовари. Все пройдет! Приезжайте к нам, дочка моя иногда, знаете, вспоминает про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся в заказе на кроликов, вот вы немножко и развлечетесь.

Шарль послушался. Он поехал в Берто и застал там все то же, что и раньше, то есть как пять месяцев назад. Только груши были уже в цвету, и добряк Руо, которого он поставил на ноги, расхаживал по ферме, что придавало ей некоторое оживление.

Считая своим долгом окружить врача, как человека, перенесшего большое горе, всяческим вниманием, старик Руо просил его не ходить с открытой головой, говорил с ним шепотом, словно с больным, и даже притворялся, будто сердится, что ему не приготовили какого-нибудь отдельного блюда полегче, вроде крема или печеных груш. Когда Руо стал рассказывать анекдоты, Шарль поймал себя на том, что смеется, но тут же вдруг вспомнил о жене и нахмурился. Подали кофе, он перестал о ней думать.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал жить в одиночестве. Никогда не испытанная радость свободы скоро помогла ему переносить вдовство. Теперь он мог менять часы завтраков и обедов, мог когда угодно уходить и возвращаться без всяких объяснений, а если очень устанет, развалиться на кровати во всю ее ширь. И он нежился, баловал себя, принимал от знакомых соболезнавания. А с другой стороны, смерть жены оказала ему немалую услугу в работе. Целый месяц все твердили: «Бедный молодой человек! Какое несчастье!» Имя его приобрело известность, клиентура возросла, и, наконец, он ездил в Берто, сколько хотел. Он ощущал какую-то беспредметную надежду, какое-то смутное счастье. Приглаживая перед зеркалом бакенбарды, он находил, что лицо его стало гораздо приятнее прежнего.

Однажды он попал на ферму около трех часов; все работали в поле. Он зашел на кухню, но сначала не заметил Эммы: ставни были закрыты. Солнечные лучи пробивались сквозь щели, вытягиваясь на каменных плитах тоненькими полосками, ломались об углы мебели и дрожали на потолке. По столу ползали мухи, они карабкались по грязным стаканам и с жужжанием тонули на дне в остатках сидра. Под солнцем, проникавшим через каминную трубу, отсвечивала бархатом сажа и слегка голубела остывшая зола. Эмма шила, сидя между печкой и окном, косынки на ней не было, на голых плечах виднелись капельки пота.

По деревенскому обычаю, она предложила Шарлю выпить. Он отказался. Эмма стала упрашивать и, наконец, смеясь сказала, что сама отведаст с ним рюмку ликера. И вот она взяла из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, одну налила до краев, в другую только капнула и, чокнувшись, пригубила ее. Так как рюмка была почти пустая, то Эмма вся перегнулась назад и, закинув голову, напрягши шею, вытянула губы; она смеялась, потому что не чувствовала никакого вкуса, а кончиком языка, проскальзывавшим между белыми мелкими зубами, слизывала ликер со дна рюмки.

Эмма снова села и принялась за свое дело – штопку белого бумажного чулка; она работала, опустив голову, и не говорила ни слова; Шарль тоже молчал. Ветерок, поддувая под дверь, перегонял по полу пыль; молодой человек глядел, как она двигалась, и слышал только стук в ушах да дальний крик курицы, которая снеслась во дворе. Время от времени Эмма освещала себе щеки, прижимая к ним ладони, а потом охлаждала руки на железном набалдашнике огромных каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с жаркой погодой у нее начались головокружения; спросила, не будет ли ей полезно морское купанье; потом стала рассказывать о монастыре, а Шарль о своем коллеге, и оба разговорились. Поднялись в комнату Эммы. Здесь она показала молодому человеку свои старые ноты, книжки, полученные в награду за успехи, венки из дубовых веток, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Она заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала Шарлю грядку, с которой каждый месяц, в первую пятницу, срывала цветы на ее могилу. Но садовник ничего не понимает в своем деле. Ужасная вообще прислуга! Как было бы приятно жить в городе хотя бы зимой; впрочем, летом в деревне, пожалуй, еще скучней: дни такие длинные!.. И в соответствии со смыслом слов голос Эммы то звучал высоко и чисто, то вдруг становился томным и, когда она начинала говорить о себе, замедлялся в тягучих переходах,

замирая почти до шепота; она то широко и радостно открывала наивные глаза, то слегка опускала веки, и взгляд ее туманился скукой, мысль смутно блуждала.

Вечером, по дороге домой, Шарль припоминал одну за другой все ее фразы, пытаясь точно восстановить, пополнить их смысл, чтобы самому принять участие в той жизни, которой жила девушка в те времена, когда он еще ее не знал. Но ему ни разу не удалось представить себе Эмму иной, чем он ее видел в первый раз или какой только что ее оставил. Потом он стал думать, что с ней будет, если она выйдет замуж. А за кого? Увы! Дядюшка Руо очень богат, а она... она так прекрасна! Но лицо Эммы снова и снова вставало у него перед глазами, и что-то монотонное, словно жужжание волчка, беспрерывно гудело в ушах: «А что, если бы жениться!» Ночью он не спал, саднило в горле, мучила жажда; он встал, напился воды из графина и открыл окно. Небо было усеяно звездами, дул теплый ветерок, вдали лаяли собаки. Шарль повернул голову в сторону Берто.

Считая, что в конце концов он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом же удобном случае сделать предложение; но всякий раз, как такая возможность представлялась, у него немел язык от страха, что он не найдет нужных слов.

Дядюшка Руо несколько не огорчился бы, если бы его избавили от дочери: она ничем не помогала ему по дому. Он на нее не сердился, находя, что она слишком умна для сельского хозяйства; это занятие проклято небом – на нем еще никто не нажил миллионов. Добряк и сам не только не богател, но из года в год терпел убытки. Если он очень ловко сбывал свои продукты, получая большое удовольствие от коммерческих хитростей, то для хозяйства в собственном смысле слова, для внутреннего управления фермой, он был самым неподходящим человеком. Он не склонен был утруждать себя работой и нимало не скупился на личные расходы: ему нравилась вкусная еда, жарко натопленная печь и мягкая постель. Он любил крепкий сидр, сочное жаркое, любил медленно потягивать кофе с коньяком. Обедал он на кухне, усаживаясь один у очага за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, как в театре.

Итак, заметив, что в присутствии Эммы у Шарля краснеют щеки, – а это значило, что на днях последует предложение, – дядюшка Руо заранее обмозговал все дело. Врач казался ему немножко *замухрышкой*, и вообще не такого бы он желал зятя, но зато, по слухам, это был человек хорошего поведения, бережливый, отлично образованный и уж, конечно, не такой, чтобы слишком придирались к приданому. А так как дядюшке Руо пришлось недавно продать двадцать два акра своего *имения*, так как он много задолжал каменщику и не меньше того шорнику, а надо было переделывать вал виноградного пресса, то он решил: «Если он посватается, я выдам за него дочку».

Около Михайлова дня Шарль приехал в Берто на трое суток. Третий день, как и два предыдущих, протянулся в отсрочках отъезда с минуты на минуту. Дядюшка Руо пошел провожать Шарля; они шагали по наезженной дороге и уже собирались прощаться – время настало. Шарль дал себе срок до угла загородки и, наконец, миновав его, прошептал:

– Мэтр Руо, мне надо вам кое-что сказать.

Оба остановились. Шарль молчал.

– Ну, рассказывайте, что у вас там! Будто я сам всего не знаю! – тихо смеясь, сказал дядюшка Руо.

– Дядюшка Руо... дядюшка Руо... – бормотал Шарль.

– Я ничего лучшего и не желаю, – продолжал фермер. – Но хотя девочка, конечно, думает то же, что и я, надо все-таки ее спросить. Только смотрите: если она скажет «да», вам не следует возвращаться, а то пойдут сплетни, да и она расстроится. А чтобы вы не извелись вконец, я распахну настежь ставни: вы это увидите с задней стороны дома, если заглянете через забор.

И ушел.

Шарль привязал лошадь к дереву, побежал на тропинку и стал ждать. Прошло полчаса, потом он отсчитал по стрелке еще девятнадцать минут. Вдруг что-то стукнуло об стену – ставни распахнулись, щеколда еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, хотя из приличия пыталась засмеяться. Дядюшка Руо обнял будущего зятя. Заговорили о денежных делах; впрочем, на это еще оставалось достаточно времени, потому что венчаться до окончания траура Шарля, то есть до будущей весны, было бы неудобно.

Зима прошла в ожидании. Мадмуазель Руо занималась своим приданым. Часть его была заказана в Руане, а сорочки и чепчики она шила сама, достав модные картинки. Когда Шарль приезжал на ферму, говорили о приготовлениях к свадьбе, придумывали, в какой комнате устроить обед, соображали, сколько нужно будет блюд и какие подавать закуски.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при факелах, но дядюшка Руо никак не мог взять в толк эту выдумку. И устроили настоящую свадьбу: гостей прибыло сорок три человека, за столом сидели шестнадцать часов, а наутро пир начался снова и, постепенно замирая, продолжался еще несколько дней.

IV

Приглашенные стали съезжаться с раннего утра – в повозках, одноколках, двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых возках с кожаными занавесками; молодежь из ближних деревень приехала на длинных телегах, где парни стояли в ряд по краям и, чтобы не упасть, держались за поручни: лошади бежали рысью, на ухабах сильно трясло. Народ явился за десять льё из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Были приглашены все родственники жениха и невесты, хозяева помирились со всеми друзьями, с какими были в ссоре, вызвали письмами и таких знакомых, которых уже давно успели потерять из виду.

Время от времени из-за изгороди доносилось шелканье бича, тотчас распахивались ворота, и во двор въезжала повозка. Она во весь дух подкатывала к самому крыльцу, круто останавливалась и начинала разгружаться. Люди вылезали из нее с обеих сторон, растирая себе колени и потягиваясь. Дамы были в чепцах и платьях городского покроя с золотыми часовыми цепочками, в накидках, концы которых скрещивались на поясе, или в маленьких цветных косынках, скрепленных на спине булавкой и открывавших сзади шею. Мальчишки, одетые точно так же, как и их папаши, по-видимому, очень неудобно чувствовали себя в новых костюмах (многие в тот день впервые в жизни надели сапоги), а рядом с выводком ребят, не произнося ни слова, стояла в белом платье, сшитом к первому причастию и удлиненном для торжественного случая, какая-нибудь большая девочка лет четырнадцати-шестнадцати – кузина или старшая сестра, – вся красная, растерянная, напoмаженная розовой помадой и боявшаяся запачкать перчатки.

Конюхов не хватало, и мужчины, засучив рукава, сами распрягали лошадей. Одеты они были сообразно своему общественному положению: кто во фраке, кто в сюртуке, кто в пиджаке, кто в куртке – все добротные костюмы, к которым в семье относились с величайшим почтением и извлекали из шкафов только по большим праздникам; сюртуки с длинными, разлетающимися по ветру лапами, с цилиндрическими стоячими воротниками и огромными, как мешки, карманами; куртки толстого сукна, при которых обычно носили фуражку с медной кромкой на козырьке; коротенькие пиджачки с парой тесно – словно глаза – посаженных на спине пуговиц и с такими тугими фалдами, как будто их вырубил из цельного куска дерева плотник. Иные из гостей (но этим, конечно, пришлось обедать на нижнем конце стола) были даже в парадных блузах: откидной ворот лежал на самых плечах, спина, собранная в мелкие складки, перехвачена низко подпоясанным шитым пояском.

А крахмальные сорочки топорщились, как панцири! Все мужчины были только что подстрижены, так что уши у них оттопыривались; все чисто выбриты, а у тех, кто встал до зари и плохо видел, когда брился, заметны были даже косые царапины под носом или крупные, как трехфранковик, пятна срезанной по краю подбородка кожи. В дороге ссадины обветрились, и расплывшиеся белые лица были как будто разделаны под розовый мрамор.

От фермы до мэрии считалось пол-льё, и туда отправились пешком. Вернулись домой после церковного обряда тоже пешком. Сначала гости шли плотной вереницей – словно цветной шарф извивался по узкой меже, змеившейся между зелеными хлебами; но скоро кортеж растянулся и разбился на группы; люди болтали и не торопились. Впереди всех шагал музыкант с разукрашенной атласными лентами скрипкой; за ним выступали новобрачные, а дальше шли вперемешку родственники и знакомые. Дети далеко отстали: они обрывали сережки овса и втихомолку забавлялись играми. Длинное платье Эммы слегка волочилось по земле; время от времени она останавливалась, приподнимала его и осторожно снимала затянутыми в перчатки пальцами грубую траву и мелкие колючки репейника; а Шарль, опустив руки, дожидался, пока она покончит с этим делом. Дядюшка Руо, в новом цилиндре и черном фраке с рукавами до самых ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, презирая в глубине души всю эту компанию, явился в простом однобортном сюртуке военного покроя и теперь расточал кабацкие любезности какой-то белокурой крестьяночке. Она приседала, краснела, не знала, что отвечать. Остальные гости разговаривали о своих делах или подшучивали исподтишка, заранее возбуждая себя к веселью; насторожив ухо, можно было расслышать в поле пикирование музыканта, который все играл да играл. Заметив, что свадебный кортеж от него отстает, он останавливался перевести дух, долго натирал смычок канифолью, чтобы громче визжали струны, и снова пускался в путь, сам себе отбивая такт движениями грифа. От звуков его инструмента вдали взлетали птички.

Стол накрыли во дворе, под навесом для телег. На столе красовались четыре филе, шесть куриных фрикасе, тушенная телятина и три жарких, а по самой середине – великолепный жареный поросенок, обложенный печеночной колбасой со щавелевым гарниром. По углам возвышались графины с водкой. Сладкий сидр, разлитый по бутылкам, окаймлял пробки густой пеной, а все стаканы были заранее до краев наполнены вином. Желтый крем на огромных блюдах дрожал при малейшем толчке, на его гладкой поверхности красовались узорные инициалы новобрачных. Торты и нугу делал кондитер, выписанный из Ивето. Так как в этой местности ему приходилось выступать впервые, он старался как только мог и к десерту самолично подал такой фигурный пирог, что все ахнули. У основания его находился синий картонный квадрат, а на нем целый храм с портиками и колоннадой; в нишах, усыпанных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; выше, на втором этаже – савойский пирог в виде сторожевой башни, окруженной мелкими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек; и, наконец, на верхней площадке – скалы, озера из варенья, кораблики из ореховых скорлупок и зеленый луг, где маленький амур качался на шоколадных качелях, у которых столбы кончались вместо шаров бутонами живых роз.

Ели до самого вечера. Устав сидеть, гости уходили во двор погулять или на гумно поиграть в пробку, а потом снова возвращались к столу. К концу обеда многие уснули и захрапели. Но за кофе все опять оживилось; тогда начались песни; мужчины стали хвастаться силой, таскали гири, пробовали поднять на плечах телегу, показывали фокусы, отпускали крепкие шутки, обнимали дам. Вечером, когда нужно было уезжать, раздувшиеся от овса лошади еле влезали в оглобли, брыкались, становились на дыбы, рвали упряжь; а хозяева ругались или хохотали. И всю ночь по всем дорогам округи мчались галопом при лунном свете обезумевшие повозки; они сваливались в канавы, перемахивали через кучи булыжника, застревали на подъемах, и женщины, высовываясь из них, подхватывали упущенные вожжи. Оставшиеся в Берто провели ночь на кухне за вином. Дети уснули под лавками.

Невеста упростила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Правда, один из родственников, торговавший морской рыбой (он даже привез в качестве свадебного подарка две камбалы), попробовал было прыснуть в замочную скважину водой, но дядюшка Руо успел вовремя остановить его и объяснить, что такие непристойности несовместимы с солидным общественным положением зятя. Однако родственник нелегко поддался на его уговоры. Сочтя в глубине души, что дядюшка загордился, он тут же отошел в уголок, к четырем-пяти гостям, которым случайно попались за столом плохие куски, и потому они считали, что их нехорошо принимают, перешептывались насчет хозяина и обиняком желали ему разориться.

Г-жа Бовари-мать весь день не разжимала губ. С ней не посоветовались ни о туалете невесты, ни о распорядке празднества; она уехала очень рано. Супруг ее не последовал за нею, он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра курил, попивая грог с киршвассером – напиток, до тех пор неизвестный в здешних краях и потому явившийся для него как бы источником еще большего престижа.

Шарль не отличался остроумием и за ужином далеко не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и лукавые словечки, которыми его засыпали с первого же блюда, он отвечал довольно плоско.

Но зато с утра он стал другим человеком. Казалось, что он только вчера познал любовь; новобрачная ничем не выдавала себя; глядя на нее, нельзя было ни о чем догадаться. Самые лукавые остряки не знали, что сказать, и, когда она проходила мимо них, только поглядывали да тужились от непосильного умственного напряжения. Но Шарль не скрывал ничего. Он называл Эмму своей женой, говорил ей «ты», у всех спрашивал, как она им нравится, разыскивал ее повсюду и часто уводил ее в сад; и гости видели из-за деревьев, как он на ходу обнимает молодую за талию и, склоняясь к ней, мнет головой кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали: Шарлю нужно было заняться пациентами, больше задерживаться он не мог. Дядюшка Руо дал им свою повозку и сам проводил их до Вассонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь и пошел домой. Сделав сотню шагов, он остановился и, видя, как вертятся в пыли колеса уезжающей повозки, глубоко вздохнул. Вспомнил он свою собственную свадьбу, былые времена, первую беременность жены. Да, он тоже был очень весел в тот день, когда увозил ее к себе из отцовского дома, когда она сидела за его седлом и конь трусил по глубокому снегу: дело ведь шло к рождеству, поля вокруг были белые; она одной рукой держалась за него, а в другой у нее была корзинка; ветер играл длинными кружевами нормандского чепчика, они иногда закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он всякий раз видел у себя на плече, совсем рядом, розовое личико, молча улыбающееся под золотой пластинкой чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как давно все это было! Теперь их сыну уже исполнилось бы тридцать лет!.. Он снова обернулся, но ничего не увидел на дороге. Старик приуныл, как опустелый дом; в отуманенной винными парами голове к приятным воспоминаниям примешались мрачные мысли, и ему захотелось пройтись в сторону церкви. Но, испугавшись, как бы от этого не стало еще грустнее, он пошел прямо домой.

Г-н и г-жа Бовари приехали в Тост около шести часов. Все соседи бросились к окнам посмотреть на новую докторшу.

Старуха служанка поздоровалась с барыней, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Кирпичный фасад тянулся как раз вдоль улицы или, вернее, дороги. За дверью на стенке висел плащ с узеньким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара краг, еще покрытых засохшей грязью. Направо была зала, то есть комната, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде цветочной гирлянды дро-

жали на плохо натянутой холщовой подкладке. Белые коленкоровые занавески с красной каймой скрещивались на окнах, а на узкой полочке камина, между двумя подсвечниками накладного серебра с овальными абажурами, блестели стоячие часы с головой Гиппократ. По другую сторону коридора помещался кабинет Шарля – комната шагов в шесть шириной, где стояли стол, три стула и рабочее кресло. На шести полках елового книжного шкафа не было почти ничего, кроме «Словаря медицинских наук», неразрезанные томы которого совсем истрепались, бесконечно перепродаваясь из рук в руки. Здесь больные вдыхали проникавший из-за стены запах подливки, а в кухне было слышно, как они кашляют и рассказывают о своих недугах. Дальше следовала большая, совершенно запущенная комната с очагом; окна ее выходили во двор, на конюшню. Теперь она служила и дровяным сараем, и кладовой, и чуланом для всякого старья: повсюду валялось ржавое железо, пустые бочонки, поломанные садовые инструменты и еще какие-то запыленные вещи непонятного назначения.

Сад вытянулся в длину между двумя глинобитными стенами, – их прикрывали шпалеры абрикосов, – до живой изгороди из колючего терновника; дальше начинались поля. По самой середине, на каменном постаменте, виднелся аспидный циферблат солнечных часов; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали участок более полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый кюре.

Эмма поднялась в жилые комнаты. В первой не было никакой мебели, но во второй, то есть в супружеской спальне, стояла в алькове кровать красного дерева с красным же полом. На комод красовалась отделанная раковинами шкатулка, у окна на секретере стоял в графине букет флердоранжа, перевязанный белыми атласными лентами. То был свадебный букет, – букет первой жены! Эмма взглянула на него. Шарль заметил это и унес цветы на чердак. А в это время молодая, сидя в кресле (рядом раскладывали ее вещи), думала о своем свадебном букете, уложенном в картонку, и спрашивала себя, что с ним сделают, если вдруг умрет и она.

С первых же дней она затеяла в доме переделки. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, перекрасила лестницу, а в саду, вокруг солнечных часов, поставила скамейки; она даже расспрашивала, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец муж, зная, что она любит кататься, раздобыл по случаю двухместный *шарабанчик*, – благодаря новым фонарям и крыльям из строченой кожи он мог сойти за тильбюри.

Шарль был счастлив и ни о чем на свете не тревожился. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большой дороге, движение руки, которым Эмма поправляла прическу, ее соломенная шляпа, висящая на шпингалете окна, тысячи других мелочей, в которых он ранее не предполагал ничего приятного, – все это теперь было для него источником непрерывного блаженства. Утром, лежа в постели рядом с Эммой, он глядел, как солнечный луч пронизывает пушок на ее бело-розовых щеках, полуприкрытых гофрированными фестонами чепчика. На таком близком расстоянии глаза Эммы казались еще больше, особенно когда она, просыпаясь, по несколько раз открывала и снова закрывала их; черные в тени и темно-синие при ярком свете, глаза ее как будто слагались из многих цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших к поверхности радужной оболочки. Взгляд Шарля терялся в этих глубинах, он видел там самого себя, только в уменьшенном виде, – видел до самых плеч, с фуляровым платком на голове, с расстегнутым воротом рубашки. Он вставал. Эмма подходила к окну взглянуть, как он уезжает; она долго стояла, облокотившись на подоконник между двумя горшками герани, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль на тумбе пристегивал шпоры; Эмма говорила с ним сверху, покусывая цветочный лепесток или травинку, а потом сдувала ее вниз к нему, и травинка медленно, задерживаясь, описывая в воздухе круги, словно птица, опускалась на улицу, цепляясь за лохматую гриву старой белой кобылы, неподвижно стоявшей у порога, и только потом падала на землю. Шарль вскакивал в седло, посылал Эмме поцелуй, она отвечала ему кивком, закрывала окно; он трогался в путь. И он ехал по большой дороге, растянувшейся

бесконечной пыльной лентой, по наезженным проселкам, затененным арками древесных ветвей, по межам, где хлеба колыхались у его колен, – и солнце играло на его спине, утренний воздух вливался в его ноздри, а сердце его было полно радостями истекшей ночи. Покойный духом, довольный телом, он переживал в душе свое счастье, как иногда после обеда человек еще смакует вкус съеденных трюфелей.

Что хорошего он знал в жизни до сих пор? Школьные ли годы, когда он сидел взаперти в высоких стенах коллежа и всегда был одинок среди более богатых или более способных товарищей, смеявшихся над его говором, издевавшихся над его одеждой, среди товарищей, к которым в приемную приходили матери и тайком приносили в муфтах пирожные? Или позже, когда он был студентом-медиком и безденежье не позволяло ему даже заказать музыкантам контраданс для какой-нибудь девушки-работницы, которая могла бы стать его подружкой? А потом он целых четырнадцать месяцев прожил с вдовой, у которой в постели ноги были холодные, как ледышки. Теперь же он на всю жизнь завладел очаровательной женщиной, которую обо-жал. Весь мир для него ограничивался шелковистым кругом ее юбок; он упрекал себя, что не любит ее, ему хотелось увидеть ее вновь; он очень скоро возвращался домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма сидела в своей комнате за туалетом; он входил на цыпочках, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Он не мог удержаться, чтобы не трогать ежесекундно ее гребня, колец, косынки; он то крепко и звонко целовал ее в щеки, то легонько пробежал губами по всей ее голой руке, от пальцев до плеча; а она, улыбаясь и слегка досадуя, отталкивала его, как отгоняют надоевшего ребенка.

До свадьбы ей казалось, что она любит; но любовь должна давать счастье, а счастья не было: значит, она ошиблась. И Эмма пыталась понять, что, собственно, означают в жизни те слова *о блаженстве, о страсти, об опьянении*, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она читала «Павла и Виргинию» и мечтала о бамбуковом домике, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе доброго братца, который рвал бы для нее красные плоды с огромных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней босиком по песку, неся в руках птичье гнездо.

Когда ей было тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Они оставались в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; за ужином им подали разрисованные тарелки со сценами из жизни мадмуазель де ла Вальер. Исцарапанные ножами и вилками затейливые надписи прославляли религию, тонкость чувств и придворную пышность.

В первое время она в монастыре не скучала, – ей нравилось общество монахинь. Чтобы поразвлечь девочку, они водили ее в часовню, куда проходили из трапезной длинным коридором. Эмма мало играла на переменах и хорошо разбиралась в катехизисе; когда господин викарий задавал трудные вопросы, отвечала всегда она. Безвыходно живя в тепличной атмосфере классов, в кругу бледных женщин, перебиравших четки с медными крестиками, она тихо дремала в мистической томности, навеваемой церковными благовониями, прохладой святой воды, сиянием свечей. За обедней, вместо того чтобы вслушиваться в молитвенные слова, она разглядывала в своей книжке благочестивые картинки в голубых рамках; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Умерщвляя плоть, она однажды попробовала целый день ничего не есть. Она придумывала, какой бы ей дать обет.

Когда надо было идти на исповедь, она нарочно уличала себя в мелких грешках, чтобы подольше постоять на коленях, сложив руки, прижавшись лицом к решетке, и слушать в тени

шепот священника. Так часто повторяющиеся в проповедях слова: невеста, супруг, небесный возлюбленный, вечный брачный союз – будили в глубине ее души какую-то неведомую раньше нежность.

По вечерам, перед молитвой, в комнате для занятий читали вслух душеспасительные книги: по будням – краткие изложения священной истории или «Чтения» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, отрывки из «Духа христианства». С каким вниманием слушала она вначале эти сетования романтической меланхолии, звучащей всеми отгулами земли и вечности! Если бы детство ее протекло где-нибудь в торговом квартале – в комнатах позади лавки, ее душа, быть может, открылась бы лирическим восторгам перед поэзией природы, которую мы обычно воспринимаем впервые только через слово писателя. Но она слишком долго жила в деревне: ей знакомы были блеянье стада, вкус парного молока, плуги. Привыкнув к мирным картинам, она, по контрасту, тянулась к бурным явлениям. Море нравилось ей только в шторм, трава – только среди руин. Из всего ей надо было извлечь как бы личную пользу, а то, что не давало непосредственной пищи сердцу, она отбрасывала как ненужное: натура у нее была не столько художественная, сколько чувствительная, ее увлекали не пейзажи, а эмоции.

Каждый месяц в монастырь приходила на неделю и работала в белье одна старая дева. Ей покровительствовал архиепископ, так как она была из старинного дворянского рода, разорившегося в Революцию; поэтому она ела за одним столом с монахинями, а после обеда, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки нередко убегали к ней с уроков. Она знала много любовных песенок минувшего столетия и за работой постоянно напевала их вполголоса. Она рассказывала разные истории и новости, выполняла в городе всякие поручения и потихоньку снабжала старших учениц романами, которые всегда носила в карманах своего передника. Во время перерывов в работе старушка и сама глотала их целыми главами. Там только и было, что любовь, любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, почтальоны, которых убивают на всех станциях, лошади, которых загоняют на каждой странице, темные леса, сердечное смятение, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челноки при лунном свете, соловьи в рощах, *кавалеры*, храбрые, как львы, и кроткие, как ягнята, добродетельные сверх всякой меры, всегда красиво одетые и проливающие слезы, как урны. В пятнадцать лет Эмма целых полгода рылась в этой пыли старых библиотек. Позже ее увлек своим историческим реквизитом Вальтер Скотт, она стала мечтать о парапетах, сводчатых залах и менестрелях. Ей хотелось жить в каком-нибудь старом замке, подобно тем дамам в длинных корсажах, которые проводили свои дни в высоких стрельчатых покоях и, облокотясь на каменный подоконник, подпирая щеку рукой, глядели, как по полю скачет на вороном коне рыцарь с белым плюмажем. В те времена она поклонялась Марии Стюарт и восторженно обожала всех женщин, прославившихся своими подвигами или несчастьями. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнесса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор сверкали перед ее глазами, подобно кометам, в безбрежном мраке истории, где, кроме них, местами выступали менее яркие, никак друг с другом не связанные образы: Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, какие-то жестокости Людовика XI, отдельные моменты Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца и неизгладимое воспоминание о расписных тарелках, восхваляющих Людовика XIV.

На уроках музыки она пела романсы, где только и говорилось, что об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах и гондольерах, – безобидные композиции, в которых сквозь наивность стиля и нелепость гармонии просвечивала привлекательная фантазмагория чувствительной реальности. Подруги Эммы иногда приносили в монастырь кипсеки, полученные в подарок на Новый год. То было целое событие, их приходилось прятать и читать только в дортуарах. Осторожно касаясь замечательных атласных переплетов, Эмма останавливала свой восхищенный взгляд на красовавшихся под стихами именами неведомых авторов – все больше графов и виконтов.

Она трепетала, когда от ее дыхания над гравюрой приподнималась дугою и потом снова тихонько опадала шелковистая папиросная бумага. Там, за балюстрадами балконов, юноши в коротких плащах сжимали в объятиях девушек в белом, с кошелечками у пояса; там были анонимные портреты английских леди в белокурых локонах, – огромными ясными глазами глядели они на вас из-под круглых соломенных шляп. Одни полулежали в колясках, скользивших по парку, и борзая делала прыжки перед лошадьми, которыми правили два маленьких груга в белых рейтузах. Другие мечтательно лежали на оттоманках, держа в руке распечатанное письмо, и созерцали луну в приоткрытое окно, затененное темным занавесом. Наивные красавицы, роняя слезы, целовались с горlinkками сквозь прутья готических клеток или, улыбаясь и склонив голову к плечу, ошипывали маргаритки заостренными кончиками пальцев, загнутыми, как средневековые туфли. И вы тоже были там, султаны с длинными чубуками, вы нежились в беседках, обнимая баядерок, и вы, гяуры, турки, ятаганы, фески; и прежде всего вы, бледные пейзажи дифирамбических стран, где часто в одной рамке можно видеть и пальмовые рощи, и ели, направо – тигра, а налево – льва, на горизонте – татарские минареты, а на первом плане – римские руины, близ которых лежат на земле навьюченные верблюды, – и все вместе окаймлено чисто подметенным лесом; широкий вертикальный солнечный луч трепещет в воде, а на темно-стальном ее фоне белыми прорезями вырисовываются плавающие лебеди.

И кинкетка с абажуром, висевшая на стене над головою Эммы, освещала все эти картины мира, вереницею проходившие перед девушкой в тишине дортуара, под далекий стук запоздалой пролетки, еще катившейся где-то там, по улицам.

Когда у Эммы умерла мать, она в первые дни очень много плакала. Она заказала для волос покойницы траурную рамку и написала отцу письмо, переполненное грустными размышлениями о жизни. В этом письме она просила похоронить ее в одной могиле с матерью. Простак решил, что дочь захворала, и приехал ее навестить. Эмма в глубине души была очень довольна, что сразу поднялась до того изысканного идеала безрадостного существования, который навсегда остается недостижимым для посредственных сердец. И вот она соскользнула к ламартиновским причудам, стала слышать арфы на озерах, лебединые песни, шорох падающих листьев, дыханье чистых дев, возносящихся в небеса, голос предвечного, звучащий в долинах. Все это ей наскучило, но она не хотела в том признаться, продолжала тосковать – сперва по привычке, затем из самолюбия – и, наконец, с изумлением почувствовала себя успокоенною; горя в сердце у нее осталось не больше, чем морщин на лбу.

Добрые монашенки, так хорошо предугадавшие ее призвание, с величайшим удивлением заметили, что мадмуазель Руо как будто уходит из-под их опеки. В самом деле, они столько расточали ей церковных служб, отречений от мира, молитв и увещаний, так настойчиво проповедовали ей почтение к святым и мученикам, надавали ей столько добрых советов, полезных для смирения плоти и спасения души, что в конце концов она уподобилась лошади, которую тянут вперед за узду; она осадилась на месте, и удила выскочили из зубов. Положительная в душе, несмотря на все восторги, любившая церковь за цветы, музыку – за слова романсов, литературу – за страстное волнение, она восстала против таинств веры, и в ней самой росло возмущение против дисциплины, глубоко противной всему ее духовному складу. Когда отец взял ее из пансиона, о ней не пожалели. Настоятельница даже находила, что в последнее время она была недостаточно почтительна к общине.

Вернувшись домой, Эмма с удовольствием начала командовать слугами; но скоро деревня надоела ей, и она стала скучать по монастырю. Когда Шарль впервые приехал в Берто, она считала себя глубоко разочарованным существом, которое уже ничему новому не может научиться и никаких чувств не в силах испытать.

Но достаточно было беспокойства, вызванного переменой в образе жизни, а может быть, и нервного возбуждения от присутствия молодого человека, и она поверила, будто к ней снизошла, наконец, та чудесная страсть, которая до сих пор только парила в блеске поэтических

небес, подобно огромной птице в розовом оперении; и теперь она никак не могла представить себе, что невозмутимая тишина, ее окружавшая, могла быть тем самым счастьем, о котором она мечтала.

VII

Иногда она вспоминала, что ведь это все-таки прекраснейшие дни ее жизни, – как говорится, медовый месяц. Но, вероятно, чтобы ощутить всю их прелесть, надо было уехать в те края с звучными названиями, где в такой сладостной лени протекают первые брачные дни! Ехать шагом по крутым дорогам в почтовой карете с синими шелковыми шторами, слушать песню почтальона, пробуждающую эхо в горах, сливающуюся с бубенчиками коз и глухим шумом водопада. На закате солнца вдыхать на берегу залива запах лимонных деревьев; а позже, вечером, сидеть на террасе виллы вдвоем, рука об руку, глядеть на звезды и мечтать о будущем! Эмме казалось, будто в некоторых уголках земли счастье возникает само собою, подобно тому как иные растения требуют известной почвы, плохо принимаясь во всякой другой. Почему не могла она облокотиться на перила балкона швейцарского домика или заключить свою печаль в шотландском коттедже, укрыться там вместе с мужем, и чтобы на нем был черный бархатный фрак с длинными фалдами, мягкие сапожки, остроконечная шляпа и кружевные манжеты!

Быть может, ей хотелось кому-нибудь об этом поведать. Но как передать неуловимое томление, вечно меняющее свой вид подобно облакам, пронсящееся подобно ветру? У нее не было ни слов, ни случая, ни смелости.

И все же, если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы хоть раз его взгляд ответил на ее мысль, – ей казалось, сердце ее сразу прорвалось бы внезапной щедростью, как осыпаются все плоды с фруктового дерева, когда его потряхнут рукой. Но чем теснее срастались обе их жизни, тем глубже было внутреннее отчуждение Эммы.

Разговоры Шарля были плоски, как уличная панель, общие места вереницей тянулись в них в обычных своих нарядах, не вызывая ни волнения, ни смеха, ни мечтаний. Он сам вспоминал, что, когда жил в Руане, ни разу не полюбопытствовал зайти в театр, поглядеть парижских актеров. Он не умел ни плавать, ни фехтовать, ни стрелять из пистолета, и, когда однажды Эмма натолкнулась в романе на непонятное слово, относившееся к верховой езде, он не мог объяснить его значение.

А между тем разве мужчина не должен знать всего, отличаться во всех видах человеческой деятельности, посвящать свою подругу во все порывы страсти, во все тонкости и тайны жизни? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он считал Эмму счастливой! И ее раздражало его благодушное спокойствие, его грузная безмятежность и даже счастье, которое она дарила ему.

Иногда Эмма рисовала. Для Шарля было величайшим удовольствием стоять возле нее и смотреть, как она наклоняется к бумаге и, шурясь, вглядывается в свою работу или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. Что же касается игры на фортепиано, то чем быстрее бегали ее пальцы, тем больше восторгался Шарль. Эмма с апломбом барабанила по клавишам, без остановки пробегала сверху вниз всю клавиатуру. Старый инструмент с дребезжащими струнами гремел в открытое окно на всю деревню, и часто писарь судебного пристава, проходя по дороге без шапки, в шлепанцах, с листом в руках, останавливался послушать.

Кроме того, Эмма умела вести хозяйство. Больным она посылала счета за визиты в форме хорошо написанных писем, несколько не похожих на конторский документ. По воскресеньям, когда к обеду приходил какой-нибудь сосед, она всегда умела придумать для него тонкое блюдо; ренклоды она с большим вкусом укладывала пирамидками на виноградных листьях, варенье у нее подавалось на тарелочках; она даже поговаривала, что надо приобрести прибор для полоскания рта после десерта. Все это поддерживало престиж Бовари.

В конце концов Шарль и сам стал уважать себя за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям два ее карандашных наброска, которые, по его заказу, были вставлены в широкие рамы и висели в зале на длинных зеленых шнурах. Расходясь от обедни, люди видели его на пороге дома, в прекрасных ковровых туфлях.

С работы он возвращался поздно – в десять, а иногда и в двенадцать часов. Он просил есть, и так как служанка уже спала, то подавала ему сама Эмма. Он снимал сюртук и начинал обедать в свое удовольствие. Переберет всех людей, с какими встретился, все деревни, в каких побывал, все рецепты, какие прописал, и, довольный сам собой, доест остатки жаркого, поковыряет сыр, погрызет яблоко, прикончит графин вина. А потом уйдет в спальню, ляжет на спину и захрапит.

Так как он издавна привык к ночному колпаку, то фуляровый платок сползал у него с головы, и по утрам растрепанные волосы, все в пуху от развязавшейся ночью подушки, лезли ему в глаза. Он всегда ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и совершенно прямыми, как будто деревянными, головками. *В деревне и так сойдет*, – говорил он.

Мать хвалила его за такую бережливость; она по-прежнему приезжала в Тост всякий раз, как у нее случалась слишком крепкая схватка с мужем; но г-жа Бовари-мать, казалось, была предубеждена против своей невестки. Она находила, что у Эммы *замашки не по средствам*: дрова, сахар и свечи *тают, как в лучших домах*, а на кухне всякий день жгут столько угля, что хватило бы на двадцать пять блюд! Она раскладывала белье в шкафах и учила Эмму следить за мясником, когда тот приносил провизию.

Эмма выслушивала поучения, свекровь на них не скупилась, и целый день в доме слышались слова: *дочка, маменька*; они произносили их, слегка поджимая губы. Обе говорили нежности, а голос у них дрожал от злобы.

При жизни г-жи Дюбюк старуха чувствовала себя первой в сердце сына; но любовь Шарля к Эмме казалась ей настоящей изменой, – у нее похитили ту нежность, что принадлежала ей по праву, и она в горестном молчании наблюдала счастье сына, как разорившийся богатч заглядывает с улицы в окна некогда принадлежавшего ему дома и замечает за столом чужих людей. Под видом рассказов о старине она напоминала Шарлю о своих страданиях и жертвах и, сравнивая их с невниманием Эммы, всегда в заключение говорила, что ему вовсе не следовало бы так обожать жену.

Шарль не знал, что отвечать: он почитал мать и бесконечно любил жену. Суждения г-жи Бовари он считал непогрешимыми, а Эмму находил безупречной. Когда старуха уезжала, он робко пытался повторить жене какое-нибудь из самых безобидных ее замечаний в тех же выражениях, что и мамаша; но Эмма в двух словах доказывала ему, что он говорит пустяки, и отсылала его к больным.

И все-таки она, повинаясь теориям, которые считала правильными, хотела внушить себе любовь к мужу. В саду, при луне, она читала ему все страстные стихи, какие только знала наизусть; она со вздохами пела ему грустные адажио. Но после этого она чувствовала себя так же спокойно, как и всегда, да и Шарль не казался ни влюбленным, ни взволнованным больше обычного.

Наконец Эмма устала тщетно высекать искры огня из своего сердца, и, кроме того, она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить тому, что не выражалось в условных формах. И она без труда убедила себя, что в страсти Шарля нет ничего особенного. Порывы его приобрели регулярность: он обнимал ее в определенные часы. То было как бы привычкой среди других привычек, чем-то вроде десерта, о котором знаешь заранее, сидя за монотонным обедом.

Лесник, которого господин доктор вылечил от воспаления легких, преподнес госпоже докторше борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулки; иногда она уходила из дому, чтобы на минутку побыть одной и не видеть этого вечного сада и пыльной дороги.

Она добиралась до Банвильской буковой рощи, где со стороны поля, углом к ограде, стоял заброшенный домик. Там, во рву среди трав, рос высокий тростник с острыми листьями.

Прежде всего Эмма оглядывалась кругом – смотрела, не изменилось ли что-нибудь с тех пор, как она приходила сюда в последний раз. Все было по-старому: наперстянка, левкой, крупные булыжники, поросшие крапивой, пятна лишая вдоль трех окон, всегда запертые ставни, которые понемногу гнили и крошились за железными ржавыми брусьями. Мысли Эммы сначала были беспредметны, цеплялись за случайное, подобно ее борзой, которая бегала кругами по полю, тявкала вслед желтым бабочкам, гонялась за землеройками или покусывала маки по краю пшеничного поля. Потом думы понемногу прояснились, и, сидя на земле, Эмма повторяла, тихонько вороша траву зонтиком:

– Боже мой! Зачем я вышла замуж!

Она задавала себе вопрос, не могла ли она при каком-либо ином стечении обстоятельств встретить другого человека; она пыталась вообразить, каковы были бы эти несовершившиеся события, эта совсем иная жизнь, этот неизвестный муж. В самом деле, не все же такие, как Шарль! Он мог бы быть красив, умен, изыскан, привлекателен, – и, наверно, такими были те люди, за которых вышли подруги по монастырю. Что-то они теперь делают? Все, конечно, в городе, в уличном шуме, в гуле театров, в блеске балных зал, – все живут жизнью, от которой ликует сердце и расцветают чувства. А она? Существование ее холодно, как чердак, выходящий окошком на север, и скука, молчаливый паук, плетет в тени свою сеть по всем уголкам ее сердца. Ей вспоминалось, как в былые дни, при раздаче наград, она всходила на эстраду получить свой венок. В белом платье и открытых прюнелевых туфельках, со своей длинной косой, она была очень мила; когда она возвращалась на место, важные господа наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был переполнен каретами, подруги прощались с ней, выглядывая из дверцы; проходил, кланяясь, учитель музыки со скрипкой в футляре. Как давно все это было! Как давно!

Она подзывала Джали, клала ее мордочку к себе на колени, гладила длинную узкую голову собаки и говорила:

– Ну, поцелуй свою хозяйку. У тебя ведь нет горестей...

А потом, глядя в печальные глаза протяжно зевающей стройной борзой, Эмма умилялась и, приравнивая собаку к себе, говорила с ней вслух, словно утешала опечаленного человека. Иной раз налетал порыв ветра, морской шквал. Проносясь по всей Кошской равнине, он заносил свою соленую свежесть в самые дальние уголки полей. Свистел, пригибаясь к самой земле, тростник; в быстром трепете шелестела листва буков, и верхушки их раскачивались, непрерывно и громко шумя. Эмма плотнее закутывалась в шаль и вставала.

В аллее слабый и зеленый от листьев свет падал на ровный мох, тихо хрустевший под ногами. Солнце садилось; между ветвей было видно багровое небо, и ровные стволы посаженных по прямой линии деревьев вырисовывались на зеленом фоне темно-коричневой колоннадой. Эмме становилось страшно, она подзывала Джали, поспешно возвращалась по большой дороге в Тост, бросалась в кресло и весь вечер молчала.

Но в конце сентября в ее жизнь ворвалось нечто необычайное: она получила приглашение в Вобессар, к маркизу д'Андервилье.

Во время Реставрации маркиз был статс-секретарем и теперь, собираясь вернуться к политической деятельности, задолго вперед подготовлял свою кандидатуру в палату депутатов. Зимой он щедро снабжал бедняков хворостом, а выступая в генеральном совете, всегда с большим пафосом требовал для округа новых дорог. В самые жаркие дни лета у него сделался во рту нарыв, и Шарль каким-то чудом вылечил больного, вовремя пустив в ход ланцет. Вече-

ром управляющий, который был послан в Тост уплатить за операцию, рассказал, что видел в докторском саду превосходные вишни. А так как в Вобьессаре вишневые деревья принимались плохо, маркиз попросил у Бовари несколько черенков, потом счел своим долгом поблагодарить его лично, увидел Эмму и нашел, что она отлично сложена и приседает далеко не по-крестьянски; и вот в замке решили, что пригласить молодую чету на праздник не будет ни чрезмерной снисходительностью, ни особой неловкостью.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари уселись в свой *шарабанчик* и отправились в Вобьессар, взяв с собой большой чемодан – он был привязан к кузову сзади, и шляпную коробку – ее поставили перед фартуком; кроме того, в ногах у Шарля пристроили картонку.

Приехали они под вечер, когда в парке уже зажигали плошки, чтобы осветить дорогу экипажам.

VIII

Замок – современная постройка в итальянском стиле с двумя выступающими флигелями и тремя подъездами – тянулся вдоль нижнего края огромного луга, по которому среди разбросанных местами высоких деревьев бродило несколько коров; заросли рододендронов, жасмина и калины густыми купами разноцветной зелени топорщились вдоль усыпанной песком закругленной дороги. Под мостом протекала река; на лужайке, переходившей с двух сторон в пологие лесистые холмы, виднелись сквозь туман крытые соломой дома, а позади, в гуще кустов, двумя параллельными рядами стояли службы и конюшни, оставшиеся от разрушенного старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился перед средним подъездом. Появились слуги, вышел маркиз и, предложив жене доктора руку, ввел ее в вестибюль.

Здесь был мраморный пол; шаги и голоса отдавались под высоким потолком, словно в церкви. Впереди поднималась прямая лестница, а слева галерея, выходившая окнами в сад, вела в бильярдную, откуда доносилось щелканье костяных шаров. Проходя через эту комнату в гостиную, Эмма увидела за игрой несколько важных мужчин, утопавших подбородками в высоких галстуках. Все они были в орденах, все улыбались, молча действуя киями. На темном дереве панели, под широкими золотыми рамами, выделялись черные надписи. Эмма читала:

«Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьессар и барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года», а под другим: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервилье де ла Вобьессар, адмирал Франции и кавалер ордена св. Михаила, ранен в бою при Гуг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался 23 января 1693 года в Вобьессаре». Остальные портреты трудно было разглядеть: свет от лампы ложился прямо на зеленое сукно бильярда, а вся комната оставалась в полумраке. Наводя темный лоск на развешанные в ряд полотна, отблески огня тонкими усиками разбегались по трещинам лака, и на больших черных прямоугольниках, обрамленных золотом, только кое-где выступали выхваченные светом части картины – то бледный лоб, то два в упор смотрящих глаза, то рассыпавшийся по запудренным плечам красного кафтана парик, то пряжка подвязки над выпуклой икрой.

Маркиз открыл дверь в гостиную. Одна из дам – сама маркиза – встала, пошла навстречу Эмме, усадила ее рядом с собою на козетку и заговорила дружески, словно со старой знакомой. То была женщина лет сорока, с очень красивыми плечами, орлиным носом и тягучим голосом. В тот вечер на ее каштановые волосы была накинута простая гипюровая косынка, спускавшаяся сзади треугольником. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела белокурая молодая особа; какие-то господа во фраках, с цветком в петлице, разговаривали у камина с дамами.

В семь часов подали обед. Мужчины – их было больше – уселись за одним столом, в вестибюле, а дамы – за другим, в столовой, с маркизом и маркизой.

Когда Эмма вошла туда, ее охватил теплый воздух, пропитанный смешанным запахом цветов, прекрасного белья, жаркого и трюфелей. Огни канделябров играли на серебряных крышках; поблескивал затуманенный матовым налетом граненый хрусталь; вдоль всего стола строем тянулись букеты, и на тарелках с широким бордюром, в растрехах салфеток, сложенных наподобие епископской митры, лежали овальные булочки. Красные клешни омаров свешивались с краев блюд; в ажурных корзинах громоздились на мху крупные фрукты; перепела были поданы в перьях, пар поднимался над столом, и важный, как судья, метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо подавал гостям блюда с уже нарезанными кушаньями и одним движением ложки сбрасывал на тарелку тот кусок, на который ему указывали. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижно глядела на комнату, полную гостей, фигура женщины, задрапированной до самого подбородка.

Г-жа Бовари заметила, что многие дамы не положили своих перчаток в стаканы.

А на верхнем конце стола одиноко сидел среди всех этих женщин старик, повязанный салфеткой, как ребенок. Нагнувшись над полной тарелкой, он ел, а соус капал с его губ. Глаза у него были в красных жилках, сзади висела косичка с черной ленточкой. То был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер – фаворит графа д'Артуа во времена охотничьих поездок в Водрель к маркизу де Конфлан и, как говорили, любовник королевы Марии-Антуанетты, после г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозен. Его бурная жизнь прошла в кутежах, дуэлях, пари, похищениях; он промотал свое состояние и приводил в ужас всю семью. За его стулом стоял лакей и громко выкрикивал ему на ухо названия блюд, а тот только показывал на них пальцем и что-то мычал. Взгляд Эммы то и дело невольно возвращался к этому старику с отвисшими губами и задерживался на нем, как на чем-то необычайном и величественном: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

Розлили в бокалы замороженное шампанское. Когда Эмма ощутила во рту его холод, у нее дрожь пробежала по коже. Никогда не видала она гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалась ей какой-то особенно белой и мелкой.

Потом дамы разошлись по комнатам переодеваться к балу. Эмма занялась туалетом тщательно и обдуманно, как актриса перед дебютом. Убрав волосы так, как ей советовал парикмахер, она надела разложенное на кровати барежевое платье. Шарль жаловался, что панталоны жмут ему в поясе.

– Штрипки будут мне мешать танцевать, – говорил он.

– Танцевать? – переспросила Эмма.

– Ну да!

– Ты с ума сошел! Над тобой смеяться будут. Сиди уж лучше спокойно... Да для врача это и приличнее, – прибавила она помолчав.

Шарль затих. Он расхаживал по комнате и ждал, пока Эмма кончит одеваться.

Он видел её в зеркало сзади. Свечи освещали ее с двух сторон. Темные глаза Эммы казались еще темнее. Гладкие бандо, слегка подымавшиеся на висках, отливали синевой; в прическе дрожала на гибком стебле роза, и искусственные росинки играли на ее лепестках. Платье было бледно-шафранового цвета, отделанное тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать Эмму в плечо.

– Оставь! – сказала она. – Измнешь платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, доносились звуки рога. Эмма спустилась по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не побежать.

Начиналась кадрили. Сходились гости. Было тесно. Эмма села на банкетку, поблизости от двери.

Когда перестали танцевать, посреди зала остались только группы беседовавших стоя мужчин да ливрейные лакеи с большими подносами. По всему ряду сидящих женщин колыхались и шелестели разрисованные веера, прикрывались букетами улыбки, и руки в белых пер-

чатках, обрисовывавших ногти и сжимавших запястье, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, бриллиантовые броши трепетали на груди, сверкали на корсажах, браслеты с подвесками звякали на обнаженных руках. В приглаженных на лбу и закрученных на затылке прическах красовались – венками, гроздьями, ветками – незабудки, жасмин, цветы граната, пшеничные колосья и васильки. Неподвижно сидели по местам нахмуренные матери в красных тюбанах.

Когда кавалер взял Эмму за кончики пальцев и она вместе с ним стала в ряд, дожидаясь смычка, сердце ее слегка забилося. Но скоро волнение исчезло; покачиваясь в ритм с оркестром, она скользила вперед, чуть поводя шеей и невольно улыбалась тонким переходам скрипки, когда порою умолкали остальные инструменты и скрипач играл соло; тогда отчетливо слышался чистый звон золотых монет, сыпавшихся на сукно карточных столов. Вдруг сразу вступил весь оркестр, – неслись звучные раскаты корнет-а-пистона, в такт опускались ноги, раздувались и шуршали юбки, встречались и расставались пальцы; одни и те же глаза то опускались перед вами, то снова вперялись в вас взглядом.

Среди танцующих и беседующих у дверей гостей несколько мужчин – их было человек пятнадцать, в возрасте от двадцати пяти до сорока лет – резко отличались от остальных каким-то общим семейным сходством, несмотря на различие в годах, в костюме, в чертах лица.

Фраки их были сшиты лучше, чем у других гостей, и казалось, что на них пошло более тонкое сукно; волосы, зачесанные локонами на виски, блестели от более изысканной помады. Самый цвет лица – матово-белый цвет, такой красивый на фоне бледного фарфора, муаровых отливов атласа, лакового блеска дорогой мебели, поддерживаемый размеренным режимом и тонкой пищей, – изобличал богатство. Шеи этих людей покойно поворачивались в низких галстуках; длинные бакенбарды ниспадали на отложные воротнички; губы они вытирали вышитыми платками с большими монограммами, и платки издавали чудесный запах. Те из мужчин, которые уже старели, казались еще молодыми, а у молодых лежал на лицах некий отпечаток зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие ежедневно утоляемых страстей; сквозь мягкие манеры просвечивала та особенная жесткость, какую прививает господство над существами, покорными лишь наполовину, упражняющими в человеке силу и забавляющими его тщеславие: езда на кровных лошадях и общество продажных женщин.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем на шее говорили об Италии. Они восхваляли толщину колонн собора св. Петра, Тиволи, Везувий, Кастелламаре и Кашины, генуэзские розы, Колизей при лунном свете. А другим ухом Эмма слышала обрывки разговора, полного непонятных для нее слов. В центре группы гостей совсем еще молодой человек рассказывал, как на прошлой неделе он «побил в Англии Мисс Арабеллу и Ромула» и выиграл две тысячи луидоров, «блестяще взяв препятствия». Другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий бранил типографию, которая из-за опечаток совершенно исказила имя его лошади.

Воздух стучался, лампы бледнели. Толпа гостей отхлынула в бильярдную. Лакей влез на стул и разбил окно; на звон осколков г-жа Бовари повернула голову и увидела в саду прижавшиеся к оконным стеклам лица глазающих крестьян. И она вспомнила Берто. Она увидела перед собою ферму, грязный пруд, отца в блузе под яблоней, увидела себя самое, как она когда-то пальчиком снимала на погребке сливки с горшков молока. Но в сегодняшнем блеске бывшая жизнь, до сих пор такая ясная, целиком уходила в тень, – и Эмма почти сомневалась, на самом ли деле она ею жила. Она была здесь, а за пределами бала не оставалось ничего, кроме мрака, где утопало все остальное. В эту минуту, прищурив глаза, она медленно ела мороженое с мараскином на позолоченном блюде, которое держала в левой руке.

Дама рядом с нею уронила веер. Мимо проходил какой-то танцор.

– Не будете ли вы добры, сударь, поднять мой веер, – сказала дама. – Он упал за это канапе.

Господин наклонился, и Эмма увидела, что в ту минуту, как он протягивал руку, молодая дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно подал его даме; та поблагодарила кивком и прикрыла лицо букетом.

После ужина, за которым было много испанских и рейнских вин, два супа – раковый и с миндальным молоком, – трафальгарский пудинг и всевозможное холодное мясо с дрожащим на блюдах галантиром, гости стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользили во мраке фонари экипажей. Банкетки опустели; за карточными столами еще оставалось несколько игроков; музыканты облизывали натруженные кончики пальцев; Шарль дремал, прислонившись спиной к двери.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела танцевать вальс. Но вальс танцевали все, даже мадмуазель д'Андервилье и маркиза. В зале остались только те, кто гостил в замке, – всего человек двенадцать.

Между тем один из танцоров, которого запросто называли виконтом, – низко открытый жилет облегал его торс, как перчатка, – уже второй раз приглашал г-жу Бовари, уверяя, что он будет ее вести и она отлично справится с танцем.

Они начали медленно, потом пошли быстрее. Они кружились, и всё кружилось вокруг них, словно диск на оси, – лампы, мебель, панели, паркет. У дверей край платья Эммы обвил колено кавалера; при поворотах они почти касались друг друга ногами; он смотрел на нее сверху, она поднимала к нему взгляд; у нее помутилось в голове, она остановилась. Потом начали сызнова; все ускоряя движение, виконт, увлекая Эмму за собой, дошел до самого конца зала, где она, задыхаясь и чуть не падая, на мгновение оперлась головою на его грудь. А потом, все еще кружась, но уже гораздо тише, он отвел ее на место. Она откинулась назад, прислонилась к стене и закрыла глаза рукой.

Когда она их открыла – перед дамой, сидевшей на пуфе посредине гостиной, стояли на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта. И снова заиграла скрипка.

На них глядели. Они скользили то ближе, то дальше; она держала корпус неподвижно, слегка наклонив голову, а он сохранял все ту же свою позу: стан выпрямлен, локоть округлен, подбородок выдвинут вперед. О, эта женщина умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех партнеров.

Потом гости поболтали еще несколько минут и, пожелав друг другу доброй ночи, или, вернее, доброго утра, разошлись по спальням.

Шарль еле тащился, держась за перила, – у него *подкашивались ноги*. Пять часов подряд простоял он за столами, глядя на вист, но ничего в нем не понимая. И, сняв ботинки, он глубоко и облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, распахнула окно и облокотилась на подоконник.

Ночь стояла темная. Накапывал редкий дождь. Эмма вдыхала сырой воздух, освежавший веки. Бальная музыка еще гремела у нее в ушах, и она изо всех сил старалась не заснуть, чтобы продлить иллюзию жизни среди роскоши, с которой уже было время расставаться.

Начало светать. Эмма долго глядела на окна замка, пытаясь угадать комнаты всех тех, кого заметила накануне. Ей хотелось бы узнать их жизнь, проникнуть в нее, слиться с нею.

Но было холодно. Эмма дрожала. Она разделась и забилась под одеяло к спящему Шарлю.

За завтраком было много народа. Еда продолжалась десять минут; никаких напитков, к удивлению врача, не подавали. Затем мадмуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и понесла их на пруд лебедям. Пошли гулять в зимний сад, где причудливые ворсистые растения пирамидами возвышались под висевшими на потолке вазами, из которых, точно из переполненных змеиных гнезд, перегибались через край длинные, спутанные зеленые стебли. Помещение кончалось оранжереей – крытым переходом в людские. Желая доставить г-же Бовари развлечение, маркиз повел ее на конюшню. Над кормушками в форме корзинок блеснули фарфоровые дощечки с черными надписями – именами лошадей. Кони волновались в

стойлах, когда маркиз, проходя мимо, щелкал языком. В шорном сарае пол блестел, как салонный паркет. Экипажная упряжь была развешана на двух вращающихся колонках, а на стенах висели уздечки, хлысты, стремяна, цепочки.

Между тем Шарль попросил слугу запрячь шарабанчик. Его подали к подъезду, взгромодили поклажу, и супруги Бовари, простившись с маркизом и маркизой, отправились в Тост.

Эмма молча глядела, как вертятся колеса. Шарль сидел на краю скамейки и, расставив руки, правил; лошадка бежала иноходью в слишком широко раздвинутых оглоблях. Мягкие вожжи подпрыгивали на ее крупе и мокли в пене, а прикрученный сзади чемодан крепко и мерно ударялся о кузов.

Они были на Тибурвильском подъеме, когда навстречу им со смехом проскакала кавалькада всадников с сигарами в зубах. Эмме показалось, что в одном из них она узнала виконта; она обернулась, но увидела на горизонте только мельканье голов, поднимавшихся и опускавшихся в соответствии с тактом галопа или рыси.

Спустя еще четверть льё пришлось остановиться и подвязать веревкой шлею.

Но, в последний раз оглядывая упряжь, Шарль увидел что-то на земле, под ногами у лошади. Он нагнулся и поднял портсигар из зеленого шелка, на котором, словно на дверце кареты, красовался посередине герб.

– Тут даже есть две сигары, – сказал он. – Пригодится после обеда.

– Ты разве куришь? – спросила Эмма.

– Курю иногда, при случае.

Он сунул находку в карман и стегнул лошаденку.

Когда вернулись домой, обед был еще не готов. Барыня разгневалась. Настази ей надерзила.

– Вон! – сказала Эмма... – Вы издеваетесь надо мной... Получите расчет!

К обеду был луковый суп и телятина со щавелем. Усевшись напротив Эммы, муж потер руки и счастливым голосом сказал:

– Как хорошо дома!

Слышен был плач Настази. Шарль успел немного привязаться к этой бедной служанке. Когда-то, в одинокие минуты вдовства, она помогла ему скоротать немало вечеров. Она была его первой пациенткой, самой старой его знакомой в округе.

– Ты в самом деле прогонишь ее? – сказал он наконец.

– Да. Кто мне запретит? – отвечала жена.

Потом они грелись на кухне, пока Настази убирала спальню на ночь. Шарль закурил. Курил он неловко: выпячивал губы, поминутно сплевывал и при каждой затяжке откидывался назад.

– Тебе дурно станет, – презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал к колодцу выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и поспешно бросила его в ящик шкафа.

Каким длинным показался ей следующий день! Она гуляла в своем крохотном садике, вновь и вновь проходя все по тем же дорожкам, останавливаясь перед грядками, перед шпалерой абрикосов, перед гипсовым юре, удивленно разглядывая все эти старые, так хорошо знакомые вещи. Каким далеким казался ей бал! Кто это отодвинул вчерашнее утро на такое огромное расстояние от сегодняшнего вечера? Поездка в Вобьессар сделалась в ее жизни зияющим провалом, – вроде расселины, какую иногда в одну ночь пробивает гроза в скале. Но Эмма примирилась, она благоговейно сложила в комод свой прекрасный туалет – все, вплоть до атласных туфелек, подошвы которых пожелтели от навощенного, скользкого паркета. Так и ее сердце: оно тоже потерлось о богатство и сохранило на себе неизгладимый налет.

И вспоминать о бале стало для Эммы постоянным занятием. Каждую среду она говорила, просыпаясь: «Ах, неделю... две недели... три недели назад – я была там!» Мало-помалу все

лица смешались в ее памяти, позабылись мелодии кадрили, смутнее стали представляться ливреи и покои замка; мелкие подробности исчезли, но сожаление осталось.

IX

Часто, когда Шарль уходил, Эмма вынимала из шкафа запрятанный в белье зеленый шелковый портсигар.

Она разглядывала его, открывала и даже нюхала пропитанную запахом вербены и табака подкладку. Чей был он?.. Виконта! Быть может, это подарок любовницы. Его вышивали на палисандровых пяльцах, – на крохотных пяльцах, которые приходилось прятать от чужих глаз и которым было посвящено много часов. Над ними склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы. Любовные вздохи проникали в петли канвы; каждый стежок закреплял какую-нибудь надежду или воспоминание; и все эти сплетающиеся нити шелка были лишь непрерывностью единой молчаливой страсти. А потом, однажды утром, виконт унес подарок с собой? О чем говорилось в комнате, когда этот сувенир лежал на широкой полке камина рядом с цветочными вазами и часами Помпадур? Она в Тосте. Он теперь в Париже. Там! Каков этот Париж? Какое величественное название! Эмма вполголоса повторяла это слово и радовалась ему. Оно звучало в ее ушах, как соборный колокол, оно пылало перед ее глазами на всем, даже на этикетках помадных банок.

Ночью, когда под окнами, распевая «Майоран», проезжали на своих повозках рыбаки, она просыпалась. «Завтра они будут там!» – говорила она, слыша стук окованных железом колес, тотчас замиравший на мягкой земле, как только обоз выезжал за околицу.

Она мысленно следовала за ними, поднималась на холмы и спускалась в долины, проезжала деревни, катилась при свете звезд по большой дороге. Но на каком-то неопределенном расстоянии всегда оказывалось туманное место, где увядала мечта.

Она купила план Парижа и, водя пальцем по карте, часто путешествовала по столице. Она двигалась по бульварам, останавливаясь на каждом углу между линиями улиц, у белых прямоугольников, изображающих дома. Наконец глаза ее уставали, она смежала веки и видела во тьме колеблемые ветром огни газовых фонарей и откидные подножки карет, с грохотом падающие перед колоннадами театров.

Она подписалась на дамский журнал «Свадебный подарок» и на «Салонного сильфа». Не пропуская ни строчки, поглощала она все отчеты о премьерах, скачках и вечерах; ее интересовали и дебют певицы, и открытие нового магазина. Она знала все последние моды, адреса лучших портных, дни, когда полагается быть в Булонском лесу или в Опере. По Эжену Сю она изучала мебель; читая Бальзака и Жорж Санд, пыталась найти в них воображаемое утешение своим собственным страстям. Даже за стол она садилась с книгой и, пока Шарль ел и говорил с нею, перелистывала страницы. Читая, она все время вспоминала виконта. Она искала в нем сходство с литературными персонажами. Он был центром сияющего круга, но круг этот постепенно расширялся, и, отделяясь от образа, ореол захватывал дальние просторы, освещал иные мечты.

Париж, безбрежный, как океан, сверкал в глазах Эммы своим багровым отблеском. Но многосложная жизнь, кипевшая в его сутолоке, все же делилась на части, разбивалась на разные картины. Эмма видела из них только две или три, и они заслоняли все остальные, становились отображением всего человечества. В зеркальных залах, среди овальных столов, покрытых бархатом с золотой бахромой, выступал на блестящих паркетах мир посланников. Там были платья со шлейфами, роковые тайны, страшные терзания, скрытые под светской улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там все были бледны и вставали в четыре часа дня; там женщины – бедные ангелы! – носили юбки с отделкой из английского кружева, а мужчины – непризнанные таланты под легкомысленной внешностью – загоняли на прогулках лошадей,

проводили летний сезон в Бадене и, наконец, к сорока годам женились на богатых наследниках. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотала при блеске свечей пестрая толпа литераторов и актрис. Они были щедры, как цари, полны идеальных стремлений и фантастических прихотей. То было парящее над всем существование, между небом и землей, в бурях, полное величия. Остальной же мир как-то терялся, не имел точного места и словно бы вовсе не существовал. Чем ближе была действительность, тем резче отворачивалась от нее мысль. Все, что непосредственно окружало Эмму, – скучная деревня, глупые мешчане, мелочность жизни, – казалось ей чем-то исключительным в мире, странной случайностью, с которой она непонятно столкнулась. Выше же простиралась необъятная страна блаженства и страстей, и глаз не мог охватить ее простора. В своих желаниях Эмма смешивала чувственные утехы роскоши с сердечными радостями, изысканность манер с тонкостью души. Разве любовь не нуждается, подобно индийским растениям, в искусно возделанной почве, в особой температуре? И потому вздохи при луне, долгие объятия и слезы, капающие на пальцы в час разлуки, и лихорадочный жар в теле, и томление нежной страсти – все это было для нее неотделимо от огромных замков, где люди живут в праздности, от будуаров с шелковыми занавесками и мягкими коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на высоких подмостках, от блеска драгоценных камней и ливрей с аксельбантами.

Каждое утро, стуча толстыми подошвами, проходил по коридору почтовый конюх, являвшийся к доктору чистить кобылу; на нем была дырявая блуза и опорки на босу ногу. Вот кем приходилось довольствоваться вместо грума в рейтузах! Покончив со своей работой, он уже не возвращался до следующего утра; приезжая домой, Шарль сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее недоуздок; а в это время служанка приносила и наспех бросала в ясли охапку сена.

На место Настази, которая, наконец, уехала из Тоста, причем плакала в три ручья, Эмма взяла в дом четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким личиком. Она запретила ей носить ночной чепец, приучила обращаться на «вы», подавать стакан воды на тарелочке, стучаться в дверь, прежде чем войти в комнату, гладить и крахмалить белье и помогать при одевании: она хотела сделать ее своей камеристкой. Новая служанка безропотно подчинялась всему, боясь, как бы ее не прогнали; а так как барыня обыкновенно забывала в буфете ключ, то Фелиситэ каждый вечер брала оттуда немножко сахара и украдкой съедала его в постели, после молитвы.

Под вечер она иногда выходила на улицу поболтать с почтовыми конюхами. Барыня сидела у себя наверху.

Эмма носила очень открытый капот; между шалевыми его отворотами виднелась сборчатая шемизетка с тремя золотыми пуговками; она подпоясывалась шнуром с большими кистями, а на туфельках гранатового цвета красовались широкие банты, прикрывавшие подъем. Она купила себе бювар, коробку почтовой бумаги, конверты и ручку, хотя писать было некому; с утра она обметала этажерку, гляделась в зеркало, брала книгу, а потом, замечтавшись, роняла ее на колени. Ей хотелось отправиться в путешествие или вернуться в монастырь. Она одновременно желала и умереть и жить в Париже.

А Шарль и в дождь, и в снег трусил на своей лошаденке по проселочным дорогам. Он закусывал на фермах яичницей, копался руками в потных постелях, пускал кровь, и теплые ее струи иногда попадали ему в лицо; он выстукивал больных, заворачивая грязные рубашки, выслушивал хрипы, разглядывал содержимое ночных горшков; но зато каждый вечер он находил дома яркий огонь, накрытый стол, мягкую мебель и изящно одетую жену, очаровательную, пахнущую свежестью. Он даже не знал, откуда идет этот запах: не ее ли кожей благоухает сорочка?

Эмма пленяла его бесчисленными тонкостями: то она по-новому сделает бумажные розетки к подсвечникам, то переменит на своем платье волан, то под таким необычным

названием предложит самое простое блюдо, не удавшееся кухарке, что Шарль с наслаждением проглотит его без остатка. Увидев в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она и себе купила брелоки. Она вздумала поставить на камин две больших вазы синего стекла, а несколько позже – рабочий ящик слоновой кости с позолоченным наперстком. Чем меньше разбирался Шарль во всех этих изысканных причудах, тем больше они очаровывали его: от них еще полнее становилось его блаженство, еще уютнее был домашний очаг. Они словно золотой пылью усыпали узенькую тропинку его жизни.

Он был здоров, имел прекрасный вид; репутация его окончательно установилась. В деревнях его любили: он был не гордый, он ласкал детей, никогда не заходил в трактиры и внушал доверие своим благонравием. Особенно хорошо справлялся он с катарами и простудными заболеваниями. В самом деле, Шарль больше всего боялся убить пациента и потому почти всегда прописывал только успокоительные средства да еще время от времени рвотное, ножную ванну или пиявки. Но это не значит, что он опасался хирургии: кровь он пускал людям, словно лошадям, а уж когда приходилось рвать зуб, то *хватка у него была мертвая*.

Желая *быть в курсе*, Шарль по проспекту подписался на новый журнал «Медицинский улей» и после обеда пробовал читать. Но не прошло пяти минут, как он засыпал от тепла и сытости; так он и сидел, навалившись подбородком на руки, а волосы его, словно грива, спускались на подставку лампы. Эмма глядела на него и только плечами пожимала. Почему ей не достался в мужья хотя бы молчаливый труженик, – один из тех людей, которые по ночам роются в книгах и к шестидесяти годам, когда начинается ревматизм, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака?.. Ей хотелось бы, чтобы имя ее, имя Бовари, было прославлено, чтобы оно выставлялось в книжных магазинах, повторялось в газетах, было известно всей Франции. Но у Шарля не было никакого честолюбия и даже самолюбия. Один врач из Ивето, с которым ему пришлось консультироваться, сказал ему у постели больного, при всех родственниках, что-то оскорбительное. Вечером, когда Шарль рассказал Эмме эту историю, она страшно возмутилась его коллегой. Муж пришел в умиление; он со слезами на глазах поцеловал ее в лоб. Но она была вне себя от стыда, ей хотелось прибить его; чтобы успокоить нервы, она выбежала в коридор, распахнула окно и стала вдыхать свежий воздух.

– Какой жалкий человек! Какой жалкий человек! – шептала она, кусая губы.

И вообще Шарль все больше раздражал ее. С возрастом у него появились вульгарные манеры: за десертом он резал ножом пробки от выпитых бутылок, после еды обчищал зубы языком, а когда ел суп, то хлюпал при каждом глотке; он начинал толстеть, и казалось, что его пухлые щеки словно приподняли и без того маленькие глаза к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему в вырез жилета выбившуюся красную каемку вязаного белья, поправляла галстук или, видя, что он собирается надеть потертые перчатки, выбрасывала их вон; но все это она делала не для него, как он думал, – все это она делала для себя самой, из эгоизма и нервного раздражения. Иногда она даже пересказывала ему то, что читала: отрывки из романов и новых пьес, *светские* сплетни из фельетонов: ведь все-таки Шарль был человек, и человек, всегда готовый слушать, всегда со всем соглашавшийся. А Эмма и борзой своей делала немало признаний! Она могла бы обращаться с ними и к дровам в камине, и к часовому маятнику.

Но в глубине души она ждала какого-то события. Подобно матросу на потерпевшем крушение корабле, она в отчаянии оглядывала пустыню своей жизни и искала белого паруса в туманах дальнего горизонта. Она не знала, какой это будет случай, какой ветер пригонит его, к какому берегу он ее унесет; она не знала, будет ли то шлюпка, или трехпалубный корабль, будет ли он нагружен страданиями, или до самых люков полон радостей. Но, просыпаясь по утрам, она всякий раз надеялась, что это случится в тот же день, – и прислушивалась ко всем шорохам, вскакивала с места, удивлялась, что все еще ничего нет. А когда заходило солнце, она грустила и желала, чтобы поскорее наступил следующий день.

Снова пришла весна. С первыми жаркими днями, когда зацвели груши, у Эммы началось удушье.

С начала июля она принялась считать по пальцам, сколько недель оставалось до октября: может быть, маркиз д'Андервилье даст в Вобьессаре еще один бал. Но миновал и сентябрь, а ни писем, ни визитов не было.

Когда прошла горечь разочарования, сердце ее вновь опустело, и опять потянулась вереница серых дней.

Значит, так они и пойдут чередой – все одинаковые, неисчислимы, ничего не приносящие дни! Как ни однообразно существование других людей, но в нем есть по крайней мере возможность событий. Иной раз одно-единственное приключение порождает бесконечные перипетии, и тогда декорации меняются. Но с нею не случалось ничего. Так уж угодно богу. Будущее казалось темным коридором, в конце которого была крепко запертая дверь.

Музыку Эмма забросила. Зачем играть? Кто станет слушать? Раз уж никогда не придется, сидя в бархатном платье за эраровским роялем, пробегать по клавишам легкими пальцами обнаженных рук и слышать, как, словно ветерок, охватывает тебя со всех сторон восхищенный шепот толпы в концертном зале, то стоит ли скучать за упражнениями? Свои рисунки и вышивки она не вынимала из шкафа. К чему? К чему? Шитье только раздражало ее.

– Я уже все прочла, – говорила она.

Так и сидела она на месте, раскаляя докрасна каминные щипцы или глядя в окно на дождь.

Грустно бывало ей по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупым вниманием слушала она, как равномерно дребезжал надтреснутый колокол. Кошка медленно кралась по крыше, выгибая спину под бледными лучами солнца. Ветер клубами вздымал пыль на дороге. Иногда вдали выла собака, а колокол продолжал свой монотонный звон, уносившийся в поля.

Но вот народ начинал выходить из церкви. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых блузах, прыгающие впереди ребятишки без шапок – все шли домой. И до самой ночи пять-шесть человек – всегда одни и те же – играли у ворот постоянного двора в пробку.

Зима была холодная. Каждый день к утру окна замерзали, и белесоватый свет, пробиваясь сквозь матовое стекло, иногда так и не менялся весь день. К четырем часам уже приходилось зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным шитьем сверкал иней; длинные блестящие нити паутины тянулись от кочна к кочну. Птиц не было слышно, все казалось спящим; фруктовые деревья были закутаны соломой; виноградник, словно огромная больная змея, тянулся под навесом у стены, на которой, подойдя ближе, можно было разглядеть ползающих на бесчисленных лапках мокриц. У фигуры юре в треуголке, читавшего молитвенник под пихтами у забора, отвалилась правая ступня и даже облупился от мороза гипс, так что на лице у него появились белые лишай.

Эмма поднималась в свою комнату, запирала дверь, начинала ворошить угли в камине и, слабея от жары, чувствовала, как тяжелеет гнетущая тоска. Она с удовольствием спустилась бы на кухню поболтать со служанкой, но ее удерживал стыд.

Каждый день в один и тот же час открывал свои ставни учитель в черной шелковой шапочке и проходил сельский стражник в блузе и при сабле. Утром и вечером, по три в ряд, пересекали улицу почтовые лошади – они шли к пруду на водопой. Время от времени дребезжал колокольчик на двери кабачка, да в ветреную погоду скрежетали на железных прутьях медные тазики, заменявшие вывеску у парикмахерской. Все украшение ее витрины состояло из старой модной картинки, наклеенной на оконное стекло, и воскового женского бюста в желтом шиньоне. Парикмахер тоже плакался на застой в работе, на загубленную карьеру и, мечтая о мастерской в каком-нибудь большом городе, например в Руане, на набережной или близ театра, – целый день, в мрачном ожидании клиентов, расхаживал по улице от мэрии до церкви

и обратно. Поднимая глаза, г-жа Бовари всегда видела его на посту: словно часовой, шагал он в своей феске набекрень и ластиковом пиджаке.

Иногда, под вечер, за окном гостиной появлялось загорелое мужское лицо в черных баках; оно медленно улыбалось широкой и сладкой улыбкой, показывая белые зубы. Тотчас раздавался вальс, и под звуки шарманки кружились, кружились в крохотном зале между креслами, кушетками и консолями танцоры вышиною в палец – женщины в розовых тюбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких штанах, – и все это отражалось в осколках зеркального стекла, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, заглядывая направо и налево в окна. Время от времени он сплевывал на тумбу длинную струю коричневой слюны и приподнимал коленом инструмент, который оттягивал ему плечо жесткой перевязью; музыка, то грустная и тягучая, то веселая и быстрая, с гудением вырывалась из-за розовой тафтяной занавески, державшейся на узорной медной планке. А где-то играли те же самые мелодии в театрах, пели в салонах, танцевали под их звуки вечерами в освещенных люстрами залах. Они долетали до Эммы как отголоски большого света. Бесконечные сарабанды кружились в ее мозгу, и мысль, словно баядерка на цветах ковра, извивалась вместе со звуками музыки, скользила от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку подаяния, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал ее на спину и тяжелыми шагами удалялся. Эмма глядела ему вслед.

Но особенно невыносимо было во время обеда, внизу, в крохотной столовой с вечно дымящей печью и скрипучей дверью, с промозглыми стенами и влажным от сырости полом. Эмме казалось, что ей подают на тарелке всю горечь существования, и когда от вареной говядины шел пар, отвращение клубами подымалось в ее душе. Шарль ел долго; она грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенчатую скатерть.

На хозяйство она теперь махнула рукой, и старшая г-жа Бовари, приехав великим постом, очень удивилась такой перемене. В самом деле, прежде Эмма была так опрятна и разборчива, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все говорила, что раз нет богатства, то надо экономить, и прибавляла, что сама она очень довольна, очень счастлива, что Тост ей очень нравится; все эти новые речи зажимали свекрови рот. К тому же Эмма, по-видимому, не собиралась слушаться ее советов; однажды, когда свекровь попробовала заметить, что господа должны следить, чтобы слуги исполняли свои религиозные обязанности, она ответила таким гневным взглядом и такой холодной улыбкой, что старушка перестала вмешиваться в ее дела.

Эмма стала требовательна и капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда, а потом не прикасалась к ним; сегодня пила одно только цельное молоко, а завтра набрасывалась на чай. Часто она упорно не хотела выходить из дома, а потом ей всюду казалось душно, она открывала окна, надевала легкие платья. Замучив служанку строгостью, она вдруг делала ей подарки или посылала ее в гости к соседям и точно так же иной раз выбрасывала нищим все серебро из своего кошелька, хотя вовсе не была ни особенно мягка, ни чувствительна к чужим страданиям, как, впрочем, и большинство людей, вышедших из деревни: в их душах навсегда остается что-то от жесткости отцовских мозолей.

В конце февраля дядюшка Руо привез зятю в память своего излечения великолепную индюшку и прогостил в Тосте три дня. Шарль был занят больными, и со стариком сидела Эмма. Он курил в комнатах, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, о коровах, о дичи, о муниципальном совете, и, когда он уехал, дочь заперла за ним дверь с таким удовольствием, что даже сама удивилась. Впрочем, она уже перестала скрывать свое презрение ко всему на свете; нередко она нарочно выражала странные мнения – порицала то, что полагалось хвалить, хвалила то, что другие признавали извращенным и безнравственным. Муж только раскрывал глаза от удивления.

Неужели это жалкое существование будет длиться вечно? Неужели она никогда от него не избавится? Ведь она ничем не хуже всех тех женщин, которые живут счастливо. В Вобьесаре она видела не одну герцогиню, у которой и фигура была грузнее, и манеры вульгарнее, чем у нее. И Эмма проклинала бога за несправедливость; она прижималась головой к стене и плакала; она томилась по шумной и блестящей жизни, по ночным маскарадам, по дерзким радостям и неизведанному самозабвению, которое должно было в них таиться.

Она побледнела, у нее бывали сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все, что пытались для нее сделать, как будто раздражало ее еще больше.

В иные дни на нее нападала лихорадочная болтливость; потом возбуждение сменялось тупым безразличием, и она, молча, неподвижно сидела на одном месте. Тогда она поддерживала свои силы только тем, что целыми флаконами лила себе на руки одеколон.

Все время она жаловалась на Тост; поэтому Шарль вообразил, будто в основе ее болезни лежит какое-то влияние местного климата, и, остановившись на этой мысли, стал серьезно думать о том, чтобы устроиться в другом городе. Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы поху-деть, схватила сухой кашель и окончательно потеряла аппетит.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, где он прожил уже четыре года, да еще расстаться в тот момент, когда он *начал становиться на ноги*. Но что надо, то надо! Он отвез жену в Руан и показал ее профессору, у которого в свое время учился. Оказалось, что у Эммы нервное заболевание: необходимо переменить обстановку.

Обратившись туда-сюда, Шарль узнал, что в Нефшательском округе есть отличный городок Ионвиль-л'Аббэй, откуда как раз за неделю до того уехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал местному аптекарю письмо, в котором спрашивал, какова численность населения в городе, далеко ли до ближайшего коллеги, сколько зарабатывал в год его предшественник и так далее. Ответ был благоприятный, и Бовари решил, если здоровье жены не улучшится, к весне переехать.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комод и уколола обо что-то палец. То была проволочка от ее свадебного букета. Флердоранж пожелтел от пыли, атласные ленты с серебряной каймой истрепались по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они вспыхнули, как сухая солома. На пепле остался медленно догоравший красный кустик. Эмма глядела на него. Лопались картонные ягодки, извивалась медная проволока, плавился галун; обгоревшие бумажные венчики носились в камине, словно черные бабочки, пока, наконец, не улетели в трубу.

В марте, когда супруги уехали из Тоста, г-жа Бовари была беременна.

Часть вторая

I

Ионвиль-л'Аббэй (он назван так в честь старинного аббатства капуцинов, от которого теперь не осталось и развалин) – маленький городок в восьми льё от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами; он лежит в долине речки Риель, которая впадает в Андель и близ своего устья приводит в движение три мельницы; в ней водится небольшое количество форели, и по воскресеньям мальчишки удят здесь рыбу.

От большой дороги в Буасьере ответвляется проселок, отлого поднимается на холм Ле, откуда видна вся долина. Речка делит ее как бы на две области различного характера: налево идет сплошной луг, направо – поля. Луг тянется под полукружием низких холмов и позади соединяется с пастбищами Брэ, к востоку же все шире идут мягко поднимающиеся поля, беспредельные нивы золотистой пшеницы. Окаймленная травой текущая вода отделяет цвет полей от цвета лугов светлой полоской, и, таким образом, все вместе похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряной тесьмой.

Подъезжая к городу, путешественник видит впереди, на самом горизонте, дубы Аргейльского леса и крутые откосы Сен-Жана, сверху донизу изрезанные длинными и неровными красноватыми бороздами. Это – следы дождей, а кирпичные тона цветных жилок, испестривших серую массу горы, происходят от бесчисленных железистых источников, которые текут из глубины ее в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, здесь лежит вырождающаяся местность с невыразительным говором и бесцветным пейзажем. Здесь делают самый скверный во всем округе нефшательский сыр, а земледелие тут обходится дорого: сыпучая песчаная почва полна камней и требует много навоза.

До 1835 года в Ионвиль почти нельзя было проехать, но в этом году был проложен большой проселочный путь, связывающий Аббевильскую дорогу с Амьенской. По нему иногда тянутся обозы из Руана во Фландрию. Однако Ионвиль, несмотря на свои *новые рынки*, остался все тем же. Жители, вместо того чтобы совершенствовать полеводство, цепляются за бездоходное луговое хозяйство, и ленивый городишко, отворачиваясь от полей, естественно продолжает расти в сторону реки. Он виден издалика: лежит, растянувшись, на берегу, словно пастух, уснувший близ ручья.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженное молодыми осинами шоссе, прямое, как стрела; оно ведет к окраинным домам Ионвиля. Они окружены живыми изгородями; по дворам, под густыми деревьями, к которым прислонены лестницы, жерди и косы, разбросаны разные постройки – даильни, сараи, винокурни. Соломенные кровли, словно надвинутые на самые глаза меховые шапки, почти на целую треть закрывают низенькие окошки с толстыми выпуклыми стеклами, в которых посередине выдавлен конус, как это делают на донышке бутылок. У выбеленных известкой стен, пересеченных по диагонали черными балками, кое-где растут тощие груши, а у входной двери устроены маленькие вертушки, – они не пускают в дом цыплят, клюющих на пороге сухарные крошки, намоченные в сидре. Но вот дворы становятся уже, дома сближаются, исчезают заборы; под окном качается палка от метлы, на которую надет пучок папоротника; видна кузница и рядом тележная мастерская; перед ней стоят, захватывая часть дороги, две-три новые телеги. Дальше появляется белый дом за решеткой, а перед ним круглый газон, где стоит, прижав пальчик к губам, маленький амур, по сторонам подъезда возвышаются две лепных вазы, на двери блестит металлическая дощечка. Это – дом нотариуса, самый лучший в городе.

В двадцати шагах от него, у выхода на площадь, по другую сторону дороги высится церковь. Ее окружает маленькое кладбище, огороженное каменной стеной ниже человеческого роста и заселенное так густо, что старые могильные плиты, лежащие вровень с землей, образуют сплошной пол, на котором проросшая зеленая травка очерчивает правильные четырехугольники. Церковь была перестроена заново в последние годы царствования Карла X. Деревянный свод уже начинает сверху гнить, и местами на его синем фоне проступают черные пятна. Над дверью, где полагается быть органу, устроены хоры для мужчин; туда ведет звенящая под деревянными башмаками винтовая лестница.

Яркий дневной свет, проникая сквозь одноцветные оконные стекла, освещает своими косыми лучами ряды скамей, стоящих под прямым углом к стене; кое-где на них прибиты гвоздиками плетеные коврики, и над каждой надпись крупными буквами: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в суживающейся части нефа, помещается исповедальня, вполне гармонирующая со статуэткой пресвятой девы в атласном платье, в тюлевой вуали с серебряными звездочками и густо наруганной, как идол с Сандвичевых островов; наконец в самой глубине перспективу завершает висящая над алтарем, между четырьмя высокими подсвечниками, копия «Святого семейства» – *дар министра внутренних дел*. На хорах еловые откидные сиденья так и остались некрашенными.

Добрая половина главной ионвильской площади занята крытым рынком, то есть черепичным навесом на двух десятках столбов. На углу, рядом с аптекой, находится мэрия, *выстроенная по плану парижского архитектора*, – нечто вроде греческого храма. Украшение первого этажа – три ионические колонны, во втором – галерея с круглой аркой; на фронте – галльский петух, одной лапой он опирается на Хартию, а в другой держит весы правосудия.

Но больше всего привлекает внимание аптека г-на Омэ, что напротив трактира «Золотой лев». Особенно великолепно она вечером, когда в ней зажигается кинетика и красные и зеленые шары на витрине далеко расстилают по земле цветные отблески. Сквозь шары, словно в бенгальском огне, виднеется тень склонившегося над пюпитром аптекаря. Дом его сверху донизу заклеен плакатами, на которых то английским почерком, то рондо, то печатным шрифтом написано: «Виши, сельтерская вода, барежская вода, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, пастилки Дарсэ, паста Реньо, перевязочные материалы, составы для ванн, лечебный шоколад и проч.». Вдоль всего фасада тянется вывеска, и на ней золотыми буквами значится: «Аптека Омэ». Внутри, за огромными, вделанными в прилавки весами, красуется над застекленной дверью слово «Лаборатория», а посредине самой двери еще раз повторено золотыми буквами на черном фоне: «Омэ».

Больше в Ионвиле глядеть не на что. Улица (единственная) длиною в полет ружейной пули насчитывает еще несколько лавчонок и обрывается на повороте дороги. Если оставить ее справа и пойти вдоль подошвы холма Сен-Жан, то скоро будет кладбище.

Во время холеры его расширили – сломали с одной стороны стену и прикупили смежный участок земли в три акра; но могилы по-старому теснятся у ворот, и новая половина почти целиком пустует. Сторож, он же могильщик и церковный причетник (таким образом он вдвойне наживается на покойниках), воспользовался свободным местом и засадил его картофелем. Но его участок из года в год все сокращается; и когда в городе бывают эпидемии, то он сам не знает, радоваться ли ему похоронам, или горевать, роя новые могилы.

– Вы кормитесь мертвыми, Лестибудуа! – не выдержав, сказал ему однажды господин кюре.

Эти мрачные слова заставили сторожа задуматься: он прекратил на некоторое время свои посадки, но все же и посейчас продолжает выращивать картофельные клубни и даже нагло утверждает, будто они растут сами собой.

Со времени событий, о которых пойдет наш рассказ, в Ионвиле, собственно, ничто не изменилось. На церковной колокольне по-старому вертится трехцветный жестяной флажок;

над галантерейной лавкой все еще развеваются по ветру два ситцевых вымпела, в аптеке мирно разлагаются в грязном спирту недоноски, похожие на пучки белого трута, а над дверью трактира старый, вылинявший под дождями золотой лев по-прежнему выставляет свою курчавую, как у пуделя, шерсть.

В тот вечер, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, хозяйка этого трактира, вдова Лефрансуа, так захлопоталась, что вся вспотела, возясь с кастрюлями. В городке был как раз канун базарного дня. Следовало заранее разрубить туши, выпотрошить цыплят, приготовить суп и кофе. Кроме того, хозяйка торопилась с обедом для постоянных посетителей, а также для врача с женой и служанкой. В бильярдной стоял хохот, в задней комнатке три мельника с криком требовали водки; горел огонь, потрескивали угольки, и на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, возвышались стопки тарелок, дрожавшие при каждом сотрясении колоды, на которой рубили шпинат. С птичника доносились вопли кур и гусей, – за ними гонялась с ножом служанка.

У печки грел спину рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях и бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его выражало лишь чистейшее самодовольство; вид был такой же спокойный, как у щегленка в ивовой клетке, висевшей над его головой. То был аптекарь.

– Артемиза! – кричала трактирщица. – Наломай хворосту, налей графины, принеси водки! Да поторапливайся. Хоть бы мне кто сказал, какой десерт подать этим господам!.. Боже правый! Опять возчики скандалят в бильярдной!.. А телега их стоит у самых ворот! Ведь «Ласточка», когда подъедет, может ее разбить! Позови Полита, пусть оттащит ее в сторону!.. Подумайте только, господин Омэ, с утра они сыграли пятнадцать партий и выпили восемь кувшинов сидра!.. Они мне еще сукно на бильярде разорвут, – говорила она, поглядывая на пирующих издали, с шумовкой в руках.

– Не велика беда, – отвечал г-н Омэ. – Купите новый.

– Новый бильярд! – воскликнула вдова.

– Но ведь этот-то чуть держится, госпожа Лефрансуа; уверяю вас, вы сами себе вредите! Вы очень себе вредите! И к тому же теперь игроки предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Теперь снизу уж не играют – все изменилось! Надо идти в ногу с веком. Берите пример с Телье...

Хозяйка покраснела от досады.

– Что ни говорите, – продолжал аптекарь, – его бильярд изящнее вашего; и если бы кому-нибудь пришлось в голову, например, устроить патриотическую пульку в пользу пострадавших от наводнения в Лионе или в пользу поляков...

– Ну, таких прошельг, как Телье, мы еще не боимся! – перебила, вздернув пышные плечи, хозяйка. – Бросьте, господин Омэ! Пока будет существовать «Золотой лев», будут в нем и гости. У нас-то кое-что есть в кармане! А ваше кафе «Франция», вот увидите, в одно прекрасное утро будет закрыто, и на ставнях у него вывесят объявлениице!.. Сменить бильярд! – продолжала она про себя. – Такой удобный для раскладки белья; а в охотничий сезон на нем спит до шести человек!.. Но что же этот растяпа Ивер не едет!

– Вы ждете его, чтобы подавать обед вашим всегдашним посетителям? – спросил фармацевт.

– Ждать? А господин Бине? Ровно в шесть часов он входит в дверь; аккуратнее нет человека на свете. И всегда ему нужно одно и то же место в маленькой комнате. Хоть убей его, не согласится пообедать за другим столом! А как привередлив! Как разборчив насчет сидра! Это не то, что господин Леон: тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Он и не глядит, что кушает. Какой прекрасный молодой человек! Никогда не повысит голоса.

– Да, знаете ли, есть разница между воспитанным человеком и сборщиком налогов из отставных карабинеров...

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук обвисал на его сухопаром теле; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и вздернутым козырьком был виден лысый лоб, вдавленный от долголетнего нажима каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые панталоны и ни в какое время года не расставался с ярко начищенными высокими сапогами, на которых выделялись над распухшими пальцами ног два параллельных утолщения. Ни один волосок не выбивался за линию его светлого воротника, охватывавшего подбородок и окаймлявшего, как зеленый бордюр грядку, его длинное бесцветное лицо с маленькими глазками и горбатым носом. Он отлично играл во все карточные игры, был хорошим охотником и обладал прекрасным почерком; дома он завел токарный станок и для забавы вытачивал кольца для салфеток, которыми с увлечением художника и эгоизмом буржуа загромождал всю квартиру.

Он направился в маленькую комнату; но сначала надо было вывести оттуда трех мельников. И все время, пока ему накрывали на стол, он молча стоял на одном месте, у печки; потом, как всегда, закрыл дверь и снял фуражку.

– Э, любезностью он себя не утруждает, – сказал аптекарь, оставшись наедине с хозяйкой.

– Вот и весь его разговор, – отвечала та. – На прошлой неделе приехали сюда два коммивояжера по суконной части – очень веселые ребята, весь вечер рассказывали такие штуки, что я хохотала до слез. А он сидел тут и молчал, как рыба. Ни слова не вымолвил!

– Да, – произнес аптекарь, – ни остроумия, ни воображения, ни одной черты человека из хорошего общества!

– А ведь у него, говорят, есть средства, – заметила хозяйка.

– Средства! – воскликнул г-н Омэ. – У него? Средства? Разве что средства собирать налоги, – прибавил он более спокойным тоном.

И продолжал:

– Ах, если негоциант с крупными торговыми связями, если юрист, или врач, или фармацевт бывают так поглощены работой, что становятся чужаками и даже угрюмы, – это я понимаю. Такие примеры известны из истории! Но ведь эти люди по крайней мере о чем-то размышляют! Взять хотя бы меня: сколько раз случалось, что, когда нужно написать этикетку, я ищу перо на столе, а оно, оказывается, у меня за ухом!

Между тем г-жа Лефрансуа вышла на порог поглядеть, не идет ли «Ласточка». Она вздрогнула: на кухню вдруг вошел человек в черном. При последних лучах заката можно было разглядеть его красное лицо и атлетическую фигуру.

– Чем могу вам служить, господин кюре? – спросила трактирщица, доставая с камина один из медных подсвечников, стоявших там целой колоннадой. – Не хотите ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородиновой, стакан вина?

Священник очень вежливо отказался. Он зашел только сказать, что на днях забыл в Эрнемонском монастыре свой зонтик; попросив г-жу Лефрансуа доставить ему зонтик вечером на дом, он ушел в церковь, где уже звонили к вечерне.

Когда стук его шагов замер вдали, аптекарь заявил, что находит такое поведение совершенно неприличным. Отказ от глотка вина казался ему самым отвратительным лицемерием: все попы потихоньку пьянствуют и, конечно, все хотят вернуть времена десятины.

Хозяйка взяла кюре под свою защиту.

– Он четырех таких, как вы, в карман положит. В прошлом году он помогал нашим ребятам убирать солому, по шести охапок сразу подымал – такой здоровый!

– Браво! – сказал аптекарь. – Вот и посылайте дочерей на исповедь к молодцу с подобным темпераментом. Нет, я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем священникам ежемесячно пускали кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц – хорошенькую флеботомию в интересах общественного порядка и нравственности!

– Да замолчите же, господин Омэ! Вы безбожник! Вы религии не признаете!

– Нет, я признаю религию, – отвечал фармацевт, – у меня своя религия. Я даже религиознее их всех, со всеми их штуками и фокусами. Да, я поклоняюсь богу! Я верю во всевышнего, в творца; мне все равно, каков он, но это он послал нас сюда, чтобы каждый исполнял свой долг гражданина и главы семейства! Но мне не к чему ходить в церковь, целовать серебряные блюда и кормить из своего кармана ораву обманщиков, которые и без того едят лучше нас с вами. Бога можно с таким же успехом почитать и в лесу, и в поле, и даже просто созерцая небесный свод, подобно древним. Мой бог – это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! Я – за «Исповедание савойского викария» и за бессмертные принципы восемьдесят девятого года! И поэтому я не допускаю существования старичка-боженьки, который прогуливается у себя в цветнике с тросточкой в руках, помещает своих друзей во чреве китовом, умирает с жалобным криком и воскресает на третий день. Все эти глупости абсурдны сами по себе и, сверх того, никоим образом несовместимы с законами природы; последние, кстати сказать, доказывают, что попы, сами погрязая в позорном невежестве, всегда пытались утопить в нем вместе с собой и весь народ!..

И аптекарь умолк, ища глазами публику, ибо, увлекшись своим красноречием, он на мгновение вообразил себя в муниципальном совете. Но трактирщица уже не слушала его: ее внимание было поглощено отдаленным шумом. Можно было различить стук кареты и цоканье слабо державшихся подков. Скоро перед дверью остановилась «Ласточка».

Желтый ящик ее кузова возвышался между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, заслоняя пассажирам вид на дорогу и обдавая их плечи брызгами. Крохотные стекла окошек ходуном ходили в рамах, когда захлопывалась дверь. Кроме древнего слоя пыли, не отмывавшейся даже во время проливного дождя, на них налипли комья грязи. В дилижанс было запряжено три лошади, из них первая – уносная; спускаясь под гору, он так раскачивался на ремнях, что дном касался земли.

На площадь выбежало несколько ионвильцев. Все говорили разом; кто спрашивал о новостях, кто требовал объяснений, кто явился за своей корзинкой. Ивер не знал, кому отвечать. Это он выполнял в Руане все поручения местных жителей. Он заходил в лавки, доставлял сапожнику свертки кожи, кузнецу – железо, своей хозяйке – сельди, он привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. Возвращаясь из города, он всю дорогу раздавал всякие вещи, – стоя на козлах, он швырял их через забор во дворы, причем кричал во все горло, а лошади шли сами.

В тот день его задержал несчастный случай: убежала в поле борзая г-жи Бовари. Битых четверть часа свистали и звали ее. Ивер даже вернулся на пол-льё обратно: ему казалось, что собака вот-вот найдется. Но в конце концов все-таки пришлось продолжать путь. Эмма плакала, сердилась, обвиняла во всем Шарля. Сосед по дилижансу, торговец мануфактурой г-н Лере, пытался утешить ее и, приводя многочисленные примеры, рассказывал, как пропавшие собаки узнавали своих хозяев много лет спустя. Известен случай, говорил он, когда один пес вернулся в Париж из Константинополя. Другой пробежал по прямой линии пятьдесят льё и вплавь перебрался через четыре реки; у родного отца г-на Лере был пудель, который пропал целых двенадцать лет, а потом в один прекрасный вечер, когда отец шел обедать, пудель бросился к нему сзади на улице.

II

Первой вышла из дилижанса Эмма, за ней Фелиситэ, г-н Лере, кормилица. Шарля пришлось будить: как только стемнело, он уснул в своем уголке.

Омэ представился приезжим; он засвидетельствовал свое восхищение г-же Бовари и свое совершенное почтение г-ну Бовари, объяснил, как он счастлив, что ему удалось оказать им кое-

какие услуги, и, наконец, с самым сердечным видом добавил, что осмеливается напроситься на обед с ними, – супруги его как раз нет в городе.

Войдя в кухню, г-жа Бовари приблизилась к камину, где крутилось на вертеле жаркое. Она двумя пальчиками взяла у колен платье и, приподняв его до щиколоток, протянула ногу в черном ботинке к огню. Пламя освещало ее целиком, пронизывая резким светом ткань платья, гладкую белую кожу и даже веки, когда она жмурилась от огня. В приоткрытую дверь часто залетал порыв ветра, и тогда по фигуре Эммы пробегал яркий красный отсвет.

По другую сторону камина расположился и молча глядел на незнакомку белокурый молодой человек.

Г-н Леон Дюпюи (он был вторым постоянным посетителем «Золотого льва») служил в Ионвиле клерком у нотариуса, мэтра Гильомена, и очень скучал, а потому часто оттягивал обед, надеясь, что на постоянный двор заедет какой-нибудь путешественник, с которым можно будет поболтать вечерок. В дни, когда работа кончалась рано, он не знал, что ему делать; оставалось только приходить к обеду вовремя и выдерживать его, от супа до сыра, с глазу на глаз с Бине. Таким образом, предложение хозяйки пообедать в обществе приезжих он принял с радостью, и все перешли в большую комнату; для парада г-жа Лефрансуа именно туда велела подать четыре прибора.

Омэ попросил разрешения не снимать феску: он боялся схватить насморк.

Затем он повернулся к соседке.

– Вы, конечно, немного утомлены, сударыня? Наша «Ласточка» так ужасно трясет!

– Да, это верно, – сказала Эмма. – Но меня всегда радуют переезды. Я люблю менять обстановку.

– Какая скука быть вечно пригвожденным к одному и тому же месту! – вздохнул клерк.

– Если бы вам, – сказал Шарль, – приходилось, как мне, не слезать с лошади...

– А по-моему, что может быть приятнее?.. – отвечал Леон, обращаясь к г-же Бовари, и добавил: – Когда есть возможность.

– Собственно говоря, – заявил аптекарь, – выполнение врачебных обязанностей в нашей местности не так затруднительно: состояние наших дорог позволяет пользоваться кабриолетом, а платят врачу довольно хорошо, ибо у нас земледельцы обладают достатком. В медицинском отношении, кроме обычных случаев энтерита, бронхита, желчных заболеваний и так далее, в этих краях встречается в период жатвы и перемежающаяся лихорадка. Но в общем тяжелых случаев мало, никаких специальных особенностей, которые стоило бы отметить, кроме разве частых случаев золотухи; причины этого заболевания коренятся, конечно, в плачевных гигиенических условиях здешних крестьянских жилищ. Ах, господин Бовари, вам придется преодолевать немало предрассудков! Немало упорных и косных привычек будет изо дня в день сопротивляться усилиям вашей науки. Еще многие, вместо того чтобы просто идти к врачу или в аптеку, прибегают к молитвам, к мощам и попам. Однако климат у нас, собственно говоря, не плохой, в коммуне даже насчитывается несколько девяностолетних стариков. Температура (я лично делал наблюдения) зимою опускается до четырех градусов, а в жаркую пору достигает не более двадцати пяти – тридцати, что составляет максимально двадцать четыре по Реомюру, или же пятьдесят четыре по Фаренгейту (английская мера), – не больше! В самом деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским лесом от северных ветров, с другой же – холмом Сен-Жан от западных; таким образом, летняя жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся с реки, и от наличия в лугах значительного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиака, то есть азота, водорода и кислорода (нет, только азота и водорода!), и которая, высасывая влагу из земли, смешивая все эти разнообразные испарения, стягивая их, так сказать, в пучок и вступая в соединение с разлитым в атмосфере электричеством, когда таковое имеется, могла бы в конце концов породить вредоносные миазмы, как в тропических странах, – эта жара, говорю я, в той стороне, откуда она приходит, или, скорее,

откуда она могла бы прийти, – то есть на юге, достаточно умеряется юго-восточными ветрами, которые, охлаждаясь над Сеной, иногда налетают на нас внезапно, подобно русским буранам!

– Имеются здесь в окрестностях какие-нибудь места для прогулок? – спросила г-жа Бовари, обращаясь к молодому человеку.

– О, очень мало, – отвечал тот. – На подъеме, у опушки леса, есть уголок, который называется выгоном. Иногда по воскресеньям я ухожу туда с книгой и люблюсь на закат солнца.

– По-моему, нет ничего восхитительнее заката, – произнесла Эмма, – особенно на берегу моря.

– О, я обожаю море, – сказал г-н Леон.

– Не кажется ли вам, – говорила г-жа Бовари, – что над этим безграничным пространством свободнее парит дух, что созерцание его возвышает душу и наводит на мысль о бесконечном, об идеале?..

– То же самое случается и в горах, – ответил Леон. – Мой кузен в прошлом году был в Швейцарии; он говорил мне, что невозможно вообразить всю красоту озер, очарование водопадов, грандиозные эффекты ледников. Там сосны невероятной величины переброшены через потоки, там хижины висят над пропастями, а когда рассеются облака, то под собой, в тысячах футов, видишь целые долины. Такое зрелище должно воодушевлять человека, располагать его к молитвам, к экстазу! Я не удивляюсь тому знаменитому музыканту, который, желая вдохновиться, уезжал играть на фортепиано в какую-нибудь величественную местность.

– Вы занимаетесь музыкой? – спросила она.

– Нет, но очень люблю ее, – ответил он.

– Ах, не слушайте его, госпожа Бовари! – перебил, наклоняясь над тарелкой, Омэ. – Это одна лишь скромность!.. Как, дорогой мой! Не вы ли на днях так удивительно пели в своей комнате «Ангела-хранителя»? Я все слышал из лаборатории: вы исполняли эту вещь, как истый артист.

Леон в самом деле квартировал у аптекаря, занимая в третьем этаже комнатку окнами на площадь. При этом комплименте домохозяина он покраснел; а тот уже повернулся к врачу и стал перечислять одного за другим всех важнейших жителей Ионвиля. Он рассказывал анекдоты, давал справки. Точная сумма состояния нотариуса неизвестна; кроме того, имеется семья Тювашей, с которыми бывает немало хлопот.

Эмма продолжала:

– А какую музыку вы предпочитаете?

– О, немецкую, – ту, что уносит в мечты.

– Вы знаете итальянцев?

– Нет еще, но я услышу их в будущем году, когда поеду в Париж кончать юридический факультет.

– Как я уже имел честь докладывать вашему супругу по поводу этого несчастного беглеца Яноды, – говорил аптекарь, – благодаря тому, что он наделал глупостей, вы будете пользоваться одним из комфортабельнейших домов в Ионвиле. Для врача этот дом особенно удобен тем, что в нем есть дверь на Аллею: это позволяет входить и выходить незаметно. К тому же при доме имеется все, что нужно для хозяйства: прачечная, кухня с людской, небольшая гостиная, фруктовый сад и прочее. А этот молодец и смотреть на него не хотел! Он специально выстроил себе в дальнем конце сада, у воды, особую беседку, чтобы пить в ней летом пиво, и если вы, сударыня, любите садоводство, то вполне можете...

– Жена совсем не занимается садом, – сказал Шарль. – Хотя ей и рекомендуют движение, но она больше любит оставаться в комнате и читать.

– Совсем, как я, – подхватил Леон. – Что может быть лучше, – сидеть вечером с книжкой у камина, когда ветер хлопает ставнями и горит лампа!..

– Правда! Правда! – сказала Эмма, пристально глядя на него широко открытыми черными глазами.

– Ни о чем не думаешь, – продолжал он, – проходят часы. Не сходя с места, путешествуешь по дальним странам, словно видишь их, и мысль, отдаваясь фантазии, наслаждается деталями или следит за узором приключений. Она сливается с героями; кажется, будто под их одеждой трепещешь ты сам.

– Да! Да! – говорила Эмма.

– Случалось ли вам когда-нибудь, – продолжал Леон, – встретить в книге мысль, которая раньше смутно приходила вам в голову, какой-то полузабытый образ, возвращающийся издалека, и кажется, что он в точности отражает тончайшие ваши ощущения?

– Я это испытывала, – ответила она.

– Вот почему я особенно люблю поэтов, – сказал он. – По-моему, стихи нежнее прозы, они скорее вызывают слезы.

– Но в конце концов они утомляют, – возразила Эмма. – Я, наоборот, предпочитаю теперь романы – те, которые пробегаешь одним духом, страшные. Я ненавижу пошлых героев и умеренные чувства, какие встречаются в действительности.

– Я считаю, – заметил клерк, – что те произведения, которые не трогают сердце, в сущности не отвечают истинной цели искусства. Среди жизненных разочарований так сладко уноситься мыслью к благородным характерам, к чистым страстям, к картинам счастья. Для меня здесь, вдали от света, это мое единственное развлечение. В Ионвиле так мало хорошего!

– Как и в Тосте, разумеется, – отвечала Эмма. – Поэтому я всегда брала в читальне книги.

– Если вам, сударыня, угодно будет оказать мне честь пользоваться моими книгами, – сказал, расслышав последние слова, аптекарь, – то собственная моя библиотека к вашим услугам, а составлена она из лучших авторов: Вольтер, Руссо, Делиль, Вальтер Скотт, «Отзвуки фельетонов» и тому подобное. Кроме того, я получаю разные периодические издания, в том числе и ежедневную газету «Руанский фонарь», где имею честь быть корреспондентом по Бюши, Форжу, Нефшателю, Ионвилю и окрестностям.

Общество сидело за столом уже два с половиной часа; служанка Артемиза, небрежно волоча по полу свои плетеные шлепанцы, подавала тарелки по одной, все забывала, ничего не понимала, поминутно оставляла открытой дверь в билльярдную, и эта дверь ударялась щеколдой об стену.

Сам того не замечая, Леон в разговоре поставил ногу на перекладину стула г-жи Бовари. На ней был синий шелковый галстучек, который стягивал гофрированный воротничок так, что он держался прямо, как брыжи; подбородок ее то утопал в батисте, то тихо поднимался из него. Пока аптекарь беседовал с Шарлем, молодые люди, сидя рядышком, вступили в один из тех неясных разговоров, где все случайные фразы ведут к единому центру – общим вкусам. До конца обеда они успели обо всем поговорить, все обсудить: парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, свет, которого оба не знали, Тост, где Эмма жила прежде, и Ионвиль, где оба находились теперь.

Когда подали кофе, Фелиситэ ушла в новый дом приготовить спальню, и вскоре собеседники встали из-за стола. Г-жа Лефрансуа спала у погасшей печки, Ипполит с фонарем в руках дожидался г-на и г-жу Бовари, чтобы проводить их домой. Солома торчала в его рыжих волосах, он хромал на левую ногу. Конюх захватил зонт г-на кюре, и все отправились в дорогу.

Городок спал. Длинные тени падали от столбов на рыночной площади. Земля была светлая, как в летнюю ночь.

Но дом врача стоял в пятидесяти шагах от трактира, и почти сейчас же по выходе пришлось пожелать друг другу покойной ночи. Компания рассталась.

В передней Эмма сразу ощутила на плечах, словно влажную простыню, холод от свежей известки. Стены были только что выбелены, деревянные ступеньки скрипели. В спальне, во

втором этаже, в голые окна входил мутный свет. Видны были верхушки деревьев, а за ними луг, тонувший в тумане, который дымился под луною вдоль по течению реки. Посредине комнаты громоздились вперемешку ящики от комода, бутылки, рамы, позолоченные карнизы, перины на стульях, тазы на полу: два носильщика, которые перетаскивали сюда вещи, свалили все кое-как.

Четвертый раз в жизни приходилось Эмме спать на незнакомом месте. В первый раз это было, когда ее привезли в монастырь, во второй – когда она приехала в Тост, в третий – в Вобьессаре, в четвертый – теперь. И каждый раз это как бы открывало новую полосу в ее жизни. Эмма не верила, чтобы на новом месте все могло быть по-старому; прожитое время было плохим, – значит то, которое еще остается скоротать, должно быть лучше.

III

Проснувшись утром, Эмма увидела на площади клерка. Она была в пеньюаре. Он поднял голову и поклонился. Она быстро кивнула и закрыла окно.

Леон весь день ждал шести часов вечера, но, войдя в трактир, не застал там никого, кроме г-на Бине, сидевшего за столом.

Вчерашний обед был для него большим событием: никогда до тех пор не приходилось ему два часа подряд беседовать с *дамой*. Как же это удалось ему сказать ей, да еще в таких выражениях, множество вещей, каких он никогда прежде не говорил столь складно? Он всегда был робок и отличался той сдержанностью, которая коренится одновременно и в стыдливости и в скрытности. Ионвильцы находили, что у него *прекрасные манеры*. Он всегда терпеливо выслушивал рассуждения пожилых людей и, казалось, вовсе не увлекался политикой, – черта, в молодом человеке необычайная. Он обладал также талантами: рисовал акварелью, разбирал ноты в скрипичном ключе и после обеда, если не играл в карты, охотно занимался чтением. Г-н Омэ уважал его за образование; г-жа Омэ восхищалась его любезностью, ибо он часто гулял в саду с маленькими Омэ, всегда перепачканными, очень плохо воспитанными карапузами, немного лимфатическими, как и их мать. Кроме няньки, за ними присматривал аптекарский ученик Жюстен, двоюродный племянник г-на Омэ, взятый в дом из милости и одновременно заменявший слугу.

Аптекарь показал себя прекраснейшим соседом. Он осведомил г-жу Бовари обо всех поставщиках, прислал к ней торговца, у которого покупал сидр, сам попробовал напиток и посмотрел, чтобы бочонки были поставлены в погреб как следует; кроме того, он рассказал, где можно дешевле получать масло, и сговорился с пономарем Лестибудуа, который, кроме священнослужительских и кладбищенских занятий, брал на себя уход за всеми лучшими садами в Ионвиле, взимая плату по часам или за год, – как было угодно нанимателям.

Такая чрезмерная любезность и сердечность аптекаря объяснялись не только склонностью его хлопотать о делах ближнего. За всем этим скрывался особый план.

Омэ нарушал статью 1-ю закона от 19 вентоза XI года Республики, воспрещавшую заниматься медицинской практикой всем, кто не имеет врачебного диплома. Таким образом, однажды он по какому-то темному доносу был вызван в Руан, в личный кабинет г-на королевского прокурора. Сановник принял его стоя, в мантии с горностаем на плечах и в берете. Это было утром, перед судебным заседанием. Из коридора доносился топот жандармских сапог, и, казалось, слышен был отдаленный скрежет ключей в огромных замках. У аптекаря так стучало в ушах, что ему казалось, сейчас с ним будет удар; ему уже чудился каменный мешок, рыдающее семейство, распродажа аптеки с молотка, разбросанные банки и склянки. Чтобы восстановить спокойствие духа, он был вынужден зайти в кафе и выпить стакан рома с сельтерской.

Со временем начальственное предупреждение померкло в памяти аптекаря, и он начал по-старому давать клиентам в помещении за магазином невинные советы. Но городские власти

смотрели на него косо, коллеги завидовали, приходилось всего бояться. Обязать г-на Бовари своими услугами – значило завоевать его благодарность и заставить его молчать, если позже он что-нибудь заметит. И вот Омэ каждое утро приносил врачу газету, а днем часто покидал на минутку свою аптеку и забегал к нему поболтать.

Шарль загрузил: пациенты всё не шли. Целыми часами он сидел и молчал, спал у себя в кабинете или глядел, как жена шьет. От нечего делать он сам к себе нанялся в рабочие и даже попытался выкрасить чердак остатками краски, которую не взяли маляры. А между тем его беспокоили денежные дела. Он столько потратил на починки в Тосте, на женины туалеты, на переезд, что в эти два года утекло все приданое – больше трех тысяч экю. А сколько вещей испортилось и потерялось при перевозке из Тоста в Ионвиль, не говоря уже о гипсовом кюре, который от встряски на ухабе упал с телеги и вдребезги разбился о мостовую Кенкампуа!

Но его отвлекла более приятная забота – беременность жены. Чем ближе было время родов, тем больше он обожал Эмму. Между ними устанавливалась новая телесная связь, как бы постоянное чувство более полного слияния. Когда Шарль видел издали ее томную походку, ее мягко движущийся без корсета стан, когда они сидели друг против друга и он не спускал с нее глаз, а она принимала в кресле утомленные позы, он не мог сдержать своего счастья. Он вскакивал, обнимал ее, гладил по лицу, называл мамочкой, тащил ее танцевать и, плача и смеясь, осыпал ее всеми веселыми ласками, какие только мог придумать. Мысль, что он зачал ребенка, приводила его в восторг. Теперь у него было все, что нужно человеку. Он познал жизнь до самой глубины и безмятежно располагался в ней в полное свое удовольствие.

Эмма сначала была очень удивлена, а потом ей захотелось поскорей разрешиться, чтобы узнать, что это такое – быть матерью. Но так как у нее не хватало денег на все расходы – на колыбельку в виде челнока с розовыми шелковыми занавесками, на чепчики с вышивкой, – то она в припадке раздражения отказалась от всякой возни с приданным для новорожденного и, ничего не выбирая, ничего не обдумывая, сразу оптом заказала его городской швее. И у нее не было той радости приготовлений, в которой зреет материнская нежность; быть может, от этого ее любовь к ребенку потерпела какой-то ущерб в самом своем зародыше.

Однако Шарль за обедом постоянно говорил о бутузе, и скоро она начала больше о нем думать.

Ей хотелось сына. Это будет крупный черноволосый мальчик, она назовет его Жоржем. Мысль, что ее ребенок будет мужчиной, как бы давала ей надежду на вознаграждение за все прежние горести. Мужчина по крайней мере свободен: он может изведать все страсти и скитаться по всем странам, преодолевать препятствия, вкушать самые недоступные радости. Женщина же вечно связана. Косная и в то же время податливая, она вынуждена бороться и со слабостью тела, и с зависимостью, налагаемой на нее законом. Воля ее, словно сдерживаемая шнурком вуаль ее шляпки, трепещет при малейшем ветерке; вечно женщину увлекает какое-нибудь желание, вечно сдерживает какая-нибудь условность.

Эмма родила в воскресенье, около шести часов, на восходе солнца.

– Девочка! – сказал Шарль.

Роженица отвернула лицо и потеряла сознание.

Почти сейчас же прибежала и расцеловала ее г-жа Омэ, а за ней тетушка Лефрансуа из «Золотого льва». Сам аптекарь, как повелевает скромность, только произнес в приоткрытую дверь несколько предварительных поздравлений. Затем г-н Омэ пожелал увидеть ребенка и нашел, что малютка отлично сложена.

Во время выздоровления Эмма была очень занята выбором имени для своей девочки. Сначала она перебрала все имена с итальянскими окончаниями, как Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей также нравилась Гальсуинда, а еще больше – Изольда или Леокадия. Шарль хотел назвать ребенка именем матери, Эмма не соглашалась. Перечли от доски до доски весь календарь, советовались с посторонними.

– На днях я беседовал с господином Леоном, – говорил аптекарь. – Он удивлялся, что вы не берете имя Магдалина. Сейчас это необычайно модное имя.

Но, заслышав имя грешницы, страшно раскричалась старуха Бовари. Сам г-н Омэ предпочитал имена, которые напоминали о каком-нибудь великом человеке, о славном подвиге или благородной идее, и по этой системе окрестил всех своих четверых детей. Таким образом, Наполеон представлял в его семье славу, а Франклин – свободу; Ирма, возможно, означала уступку романтизму, но Аталия была даром бессмертнейшему шедевру французской сцены. Ведь философские убеждения г-на Омэ не препятствовали его эстетическим наслаждениям, мыслитель нимало не подавлял в нем человека, наделенного чувством; он умел проводить грани, умел отличать воображение от фанатизма. В «Аталии», например, он порицал идею, но восхищался стилем, ругал общий замысел, но рукоплескал всем деталям. Он возмущался действующими лицами, но воодушевлялся их речами. Читая прославленные отрывки, он испытывал восторг; но, вспоминая, что бритые макушки извлекают из этих вещей кое-какие выгоды для своей лавочки, приходил в отчаяние; и, окончательно теряясь в этой путанице чувств, он одновременно мечтал обеими руками возложить на Расина венец и хоть четверть часа хорошенько с ним поспорить.

Наконец Эмма вспомнила, что в Вобьессаре маркиза при ней назвала одну молодую женщину Бертой, и сразу остановилась на этом имени. Так как дядюшка Руо приехать не мог, то в крестные пригласили г-на Омэ. Новорожденная получила на зубок по частице от всех товаров его заведения, а именно: шесть коробок юобы, целую склянку ракаута, три банки девичьей кожи и сверх того шесть леденцов, обнаруженных аптекарем в шкафу. После крещения устроили званый обед; был и кюре; головы разгорячились. За ликером г-н Омэ затянул «Бога честных людей», г-н Леон спел баркароллу, а крестная мать, г-жа Бовари-старшая, – романс времен Империи; наконец г-н Бовари-отец потребовал, чтобы принесли ребенка, и принялся крестить его шампанским, поливая ему головку из стакана. Аббат Бурнисьен вознегодовал против подобной кощунственной насмешки над первым из таинств; Бовари-старший ответил ему цитатой из «Войны богов»; кюре собрался уходить; дамы стали умолять его остаться. Омэ выступил примирителем; в конце концов священника удалось усадить на место, и он спокойно взял со своего блюдечка недопитую чашку кофе.

Г-н Бовари-отец прогостил в Ионвиле месяц, изумляя всех местных жителей великолепной военной фуражкой с серебряным галуном, в которой по утрам выходил на площадь курить трубку. Привыкнув смолodu много пить, он часто посылал служанку в «Золотой лев» за бутылочкой, которую там записывали на счет его сына; кроме того, он извел на свои носовые платки весь запас одеколona, какой нашел у невестки.

Но Эмму отнюдь не раздражало его общество. Он успел повидать свет, рассказывал и о Берлине, и о Вене, и о Страсбурге, о своем офицерском житье, о своих любовницах и пирушках; кроме того, он был очень любезен и иногда даже хватал ее где-нибудь на лестнице или в саду за талию, причем кричал:

– Берегись, Шарль!

В конце концов мамаша Бовари испугалась за счастье сына и, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного влияния на нравственность невестки, стала торопить с отъездом. Возможно, что у нее были и более серьезные опасения. Ведь г-н Бовари ничего не уважал.

Однажды у Эммы явилось непреодолимое желание повидать свою девочку, которую отдали на дом к кормилице, жене столяра, и, не справляясь в календаре, прошли ли положенные шесть недель, она отправилась к тетке Ролле, – ее домик ютился у околицы, под горкой, между лугами и большой дорогой.

Стоял полдень; все ставни были закрыты, аспидные крыши блестели под резким светом голубого неба, и гребни их, казалось, рассыпали искры. Ветер нагонял духоту. Эмма шла, но

чувствовала себя очень слабой, от камней болели ноги; она колебалась, не вернуться ли домой, не зайти ли куда-нибудь посидеть.

В эту минуту из соседней двери вышел г-н Леон со связкой бумаг подмышкой. Он раскланялся и остановился в тени у лавки Лере под выступающим серым навесом.

Г-жа Бовари сказала, что собиралась навестить ребенка, но уже чувствует усталость.

– Если... – начал Леон и запнулся, не смея продолжать.

– У вас есть какое-нибудь дело? – спросила Эмма.

И, выслушав ответ, попросила клерка проводить ее. К вечеру это уже стало известно всему Ионвилю, и супруга мэра, г-жа Тюваш, заявила при своей служанке, что *г-жа Бовари компрометирует себя*.

Чтобы попасть к кормилице, приходилось, пройдя улицу, свернуть налево к кладбищу и идти между дворами и домиками по тропинке, окаймленной кустами бирючины. Они были в цвету, как и вероника, шиповник, крапива, буйно разросшаяся ежевика. Сквозь проходы в живых изгородях видно было, как возле *домишек* роется свинья в навозе или привязанная корова трет рога о дерево. Молодые люди шли тихо рядом, и Эмма опиралась на руку г-на Леона, а он сдерживал шаг, применяясь к ее походке; перед ними носился, жужжал в горячем воздухе целый рой мошкар.

Они узнали дом кормилицы по осенявшему его старому орешнику. Лачуга была низенькая, крытая коричневой черепицей; под чердачным слуховым окном висела связка лука. Вдоль всей терновой изгороди тянулись вязанки хвороста, а во дворе рос на грядке латук, немного лаванды и душистый горошек на тычинках. Грязная вода растекалась по траве, кругом валялось какое-то тряпье, чулки, красная ситцевая кофта; на изгороди была растянута большая простыня грубого полотна. На стук калитки вышла женщина, держа на руке грудного ребенка. Другой рукой она вела жалкого, тщедушного карапуза с золотушным личиком – сынишку руанского шапочника: родители, слишком занятые торговлей, отправили его в деревню.

– Пожалуйте, – сказала кормилица. – Ваша девочка там, она спит.

В единственной комнате у задней стены стояла широкая кровать без полога, а возле разбитого и заклеенного синей бумагой окна – квашня. В углу за дверью, под каменным баком для стирки, рядом с бутылкой масла, из горлышка которой торчало перо, были выстроены в ряд башмаки с блестящими гвоздями; на пыльном камине валялся «Матьё Лансберг», ружейные кремни, огарки свечей, обрывки трута. Наконец последним из украшений этого жилища была дующая в трубу Слава, вырезанная, наверно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы и прибитая к стене шестью сапожными гвоздиками.

На полу, в ивовой колыбельке, спала девочка Эммы. Мать взяла ее на руки вместе с одеялом и, тихонько покачиваясь, запела над ней.

Леон прохаживался по комнате; ему казалось очень странным, что прекрасную даму в изящном платье он видит в такой нищенской обстановке. Г-жа Бовари покраснела; он подумал, что его взгляд мог показаться ей нескромным, и отвернулся. Девочка срыгнула матери на воротничок, и та положила ее обратно в колыбельку. Кормилица тут же бросилась вытирать, уверяя, что пятна не останется.

– Она мне еще не то делает, – говорила кормилица. – Только и заботы, что подмывать ее! Вот если бы вы были так добры, велели бы бакалейщику Камюсу, чтобы он, когда надо, давал мне немножко мыла! Да и вам бы так было удобнее, – я бы вас не беспокоила.

– Хорошо, хорошо! – сказала Эмма. – До свидания, тетушка Ролле.

И она вышла, вытерев у дверей ноги.

Женщина проводила ее до самой калитки, все время жалуясь, что ей очень вредно вставать по ночам.

– Иной раз так меня ломает, – просто засыпаю на стуле. Уж дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе – его на месяц хватит. Я бы по утрам пила с молоком.

Терпеливо выслушав изъявления ее благодарности, г-жа Бовари ушла; но не успела она сделать несколько шагов по тропинке, как сзади послышался стук деревянных башмаков. Эмма повернула голову; это была кормилица.

– В чем дело?

Тогда крестьянка, отведя ее за дерево, заговорила о муже: при своем ремесле и шести франках в год от капитана...

– Говорите короче! – сказала Эмма.

– Так вот, – продолжала кормилица, вздыхая после каждого слова, – я боюсь, тяжело будет мне пить кофе одной. Вы сами знаете, мужчины...

– Да ведь вы получите кофе, – повторила Эмма. – Я вам дам!.. Вы мне надоели!..

– Ах, барыня милая, ведь у него от ран ужасные судороги в груди. Он говорит, что ему даже от сидра бывает плохо.

– Ну, поскорее, тетушка Ролле!

– Так вот, – говорила та, приседая, – если я не слишком много прошу... – и она поклонилась еще раз, – если бы милость ваша... – взгляд ее умолял, – графинчик водки! Я бы вашей девочке ножки растирала... А уж ножки у нее, словно пух!

Отделавшись от кормилицы, Эмма снова взяла под руку г-на Леона. Несколько времени она шла быстро, потом задержала шаг, и взгляд ее – она смотрела вперед – встретил плечо молодого человека и черный бархатный воротник его сюртука, на который падали гладкие, старательно причесанные каштановые волосы. Эмма заметила его ногти: они были длиннее, чем обычно носили в Ионвиле. Уход за ними составлял одно из важных занятий клерка; для этой цели он держал в письменном столе особый ножичек.

Молодые люди возвращались в Ионвиль вдоль реки. В летнюю жару берег обнажался, и до самого основания видны были ограды садов, от которых спускались к воде лесенки. Бесшумно текла быстрая и холодная на взгляд речка; высокие, тонкие травы склонялись над гладью по течению, словно растрепанная зеленая шевелюра. По верхушкам камышей и листьям кувшинок кое-где сидели или ползали на тонких лапках насекомые. Солнце пробивалось сквозь голубые пузырьки разбивающихся, сменяющих друг друга волн; старые подрезанные ивы отражались в воде серой своей корой; выше лежали кругом пустынные луга. Все люди на фермах обедали; молодая женщина и ее спутник слышали только мерный звук своих шагов по тропинке, свои слова да шуршанье эмминого платья.

Садовые стены, утыканные поверху осколками бутылок, были нагреты, как стекла теплицы. Между кирпичами пробивался желтофиоль; проходя мимо, г-жа Бовари краем открытого зонтика задевала их, и увядшие цветы роняли желтоватую пыльцу; порой по шелку, цепляясь за бахрому, секунду скользила веточка жимолости или клематита.

Разговор шел об испанской балетной труппе, которую скоро ждали в руанский театр.

– Вы пойдете? – спросила Эмма.

– Если удастся, – ответил Леон.

Неужели им больше нечего было сказать друг другу? Но в их глазах таились более серьезные речи; сиюсь найти банальные фразы, оба чувствовали, как их охватывает томность: то был как бы ропот души – глубокий, непрерывный, покрывающий голоса. Изумленные этим никогда не испытанным наслаждением, они не пытались рассказать о нем друг другу или вскрыть его причину. Грядущее счастье, словно река в тропиках, издали наполняет пространство своей природной мягкостью, веет благоуханием, – и человек дремлет, опьяняясь, и не заботится о будущем, которого не видно.

В одном месте стадо размесило всю землю; пришлось перебираться по большим зеленым камням, разбросанным в грязи. Эмма часто останавливалась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, шатаясь на дрожащем булыжнике, неуверенно наклонялась вперед, расставив локти, смеясь от страха упасть в лужу.

Дойдя до своего сада, г-жа Бовари толкнула калитку, взбежала на крыльцо и исчезла в доме.

Леон вернулся в контору. Патрона не было; он взглянул на папку с документами, очинил перо, потом взял шляпу и ушел.

Он пошел на выгон, на вершину Аргейльского холма, где начинался лес, лег там под елью на землю и стал сквозь пальцы глядеть в небо.

«Какая тоска! – думал он. – Какая тоска!»

Он считал для себя несчастьем жить в этой деревушке, где Омэ считался его другом, а г-н Гильоме – учителем. Нотариус был вечно завален делами, носил очки с золотыми заушниками, белый галстук, рыжие бакены и ничего не понимал в душевных тонкостях, хотя и щеголял натянутыми английскими манерами, вначале ослеплявшими клерка. Что же касается аптекарши, то это была женщина кроткая, как овца, лучшая супруга во всей Нормандии; она обожала своих детей, отца, мать и всех родственников, плакала над несчастьями ближних, вела хозяйство кое-как и ненавидела корсеты; но двигалась она так тяжело, слушать ее было так скучно, так она казалась ординарна с виду и так ограничена в разговоре, что, хотя ей было тридцать лет, а Леону – двадцать, хотя они спали дверь в дверь и разговаривали ежедневно, – он ни разу не подумал о том, что она кому-то может быть женой и что вообще ее пол сказывается не только в одежде.

А кто еще? Бине, несколько лавочников, два-три кабатчика, кюре и, наконец, мэр, господин Тюваш с двумя сыновьями, – тупые и угрюмые толстосумы, которые сами обрабатывали землю, пьянствовали в своем семейном кругу, а в обществе вели себя, как невыносимые ханжи.

Но на фоне всех этих вульгарных физиономий выделялось лицо Эммы, совсем особенное и все же далекое, – между нею и собой он смутно чувствовал какую-то пропасть.

Вначале он часто ходил к ней вместе с аптекарем. Шарль, казалось, принимал его без особой радости, и Леон не знал, как ему вести себя: он и боялся быть навязчивым, и желал близости, которая казалась ему почти невозможной.

IV

С первыми холодами Эмма покинула свою спальню и переселилась в залу – длинную и низкую комнату, где на камине у зеркала растопырил ветви коралловый полип. Сидя в кресле у окна, она глядела на идущих по улице ионвильцев.

Два раза в день проходил из своей конторы к «Золотому льву» Леон. Эмма издали слышала его шаги; она наклонялась, поджидая его, и молодой клерк, всегда одинаково одетый, не оборачиваясь, проплывал за занавеской. Но в сумерки, когда, уронив на колени начатое вышивание, она сидела, опершись подбородком на левую руку, ее часто охватывала дрожь при появлении этой внезапно скользящей тени. Она вставала и приказывала накрывать на стол.

Во время обеда являлся г-н Омэ. Держа в руке свою феску, он входил на цыпочках, чтобы никого не обеспокоить, и каждый раз начинал одной и той же фразой: «Добрый вечер всей компании!» Потом усаживался за стол на своем месте – между супругами – и начинал расспрашивать Шарля о его больных, а тот советовался с ним насчет возможных гонораров. Дальше начиналась новая тема: что пишут в газете? К этому часу Омэ уже знал ее почти наизусть и пересказывал весь номер полностью, со всеми редакционными рассуждениями, не пропуская ни одной скандальной истории, какие только разыгрывались во Франции или за границей. Но вот иссякал и этот сюжет. Тогда аптекарь не упускал случая вставить несколько замечаний по поводу подававшихся кушаний. Иногда он даже привставал и осторожно показывал хозяйке самый нежный кусочек или, повернувшись к служанке, давал ей советы относительно приготовления рагу и питательных приправ; об ароматических веществах, о мясной вытяжке, о соусах и желатине он говорил изумительно. У Омэ было в памяти больше рецептов, чем

в аптеке склянок, он неподражаемо варил всякие варенья, уксус и сладкие ликеры, знал все новейшие изобретения в области хозяйственных переносных плит и владел искусством сохранения сыров и выхаживания больных вин.

В восемь часов за ним приходил Жюстен – пора было закрывать аптеку. Г-н Омэ лукаво поглядывал на него, особенно если тут же была Фелиситэ: он заметил, что ученику очень нравится бывать в докторском доме.

– Мой молодчик начинает задумываться, – говорил фармацевт. – Черт побери, он, пожалуй, влюбился в вашу служанку.

Но всерьез аптекарь ставил Жюстену в вину другой, более важный недостаток – мальчишка постоянно подслушивал разговоры взрослых. Например, по воскресеньям, когда дети засыпали в креслах, натягивая спинами не в меру широкие коленкоровые чехлы, и г-жа Омэ вызывала ученика в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом просто невозможно было выгнать.

На вечера к фармацевту ходили лишь очень немногие: своими политическими мнениями и злословием он понемногу отпугнул от себя почти всех почтенных особ. Но клерк не пропускал ни одного вечера. Заслышав звонок, он бросался навстречу г-же Бовари, принимал ее шаль и отставлял в сторону, под аптечную конторку, толстые плетеные туфли, которые она надевала поверх ботинок, когда лежал снег.

Сначала составляли несколько партий в «тридцать одно», потом г-н Омэ играл с Эммой в экарте, а Леон, стоя позади, давал ей советы. Опираясь руками на спинку ее стула, он глядел на гребень, придерживавший прическу. Всякий раз, как Эмма сбрасывала карты, лиф ее слегка подтягивался с правой стороны. Зачесанные кверху волосы отбрасывали на спину коричневатый отсвет, который, постепенно бледнея, понемногу терялся в тени. Дальше платье спускалось по обе стороны стула и, вздуваясь бесчисленными складками, ниспадало на пол. Когда Леону случалось притронуться к нему башмаком, он отскакивал, словно наступил человеку на ногу.

Покончив с картами, врач и аптекарь принимались за домино, а Эмма вставала с места, садилась за стол и, облокотившись, начинала перелистывать «Иллюстрацию». Она приносила с собою журнал мод. Леон устраивался рядом; они вместе разглядывали картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть страницу. Часто она просила его почитать стихи; Леон декламировал нараспев, старательно замирая в любовных местах. Но стук домино раздражал его; г-н Омэ был очень силен в этой игре и всегда побивал Шарля на шестерках-дубль. Добравшись до трехсот, партнеры разваливались в креслах перед камином и скоро засыпали. Огонь угасал в золе; чайник был пуст; Леон все читал. Эмма слушала его, машинально поворачивая шелковый абажур, расписанный бледными пьеро в колясках и канатными танцовщицами с балансирами в руках. Леон прекращал чтение и жестом показывал на уснувшую аудиторию; тогда они начинали говорить шепотом, и беседа казалась им еще приятнее оттого, что никто ее не слышит.

Так между ними установилось некое соглашение, постоянный обмен книгами и романами; г-н Бовари был не слишком ревнив и несколько этому не удивлялся.

В день ангела он получил прекрасную френологическую голову, до самой шеи испещренную цифрами и выкрашенную в синий цвет. То был знак внимания клерка. Он оказывал доктору и другие любезности, вплоть до того, что выполнял в Руане его поручения; когда один светский роман ввел в моду кактусы, Леон стал покупать их для г-жи Бовари и привозил в «Ласточке» у себя на коленях, накалывая пальцы о колючки.

Эмма заказала для горшков полочку с решеткой и подвесила ее под окошком. Клерк тоже завел себе подвесной садик. Поливая цветы, каждый у своего окна, они видели друг друга.

В городке было только одно окошко, за которым еще чаще стоял человек: каждый день после обеда, а по воскресеньям с утра до ночи, за слуховым окном г-на Бине можно было в ясную погоду разглядеть его худощавый профиль, склоненный над токарным станком, однообразное жужжание которого доносилось до самого «Золотого льва».

Однажды вечером Леон, вернувшись домой, нашел в своей комнате коврик из бархата и шерсти, расшитый листьями по палевому фону; он позвал г-жу Омэ, г-на Омэ, Жюстена, детей, кухарку, он рассказал об этом своему патрону. Всем хотелось видеть коврик: с какой стати докторша так *расцеди*лась ради клерка? Это казалось очень странным, и все окончательно решили, что они *в очень близких отношениях*.

Леон и сам наводил людей на эту мысль: он только и делал, что рассказывал об очаровании Эммы, о ее уме, так что Бине однажды грубо оборвал его:

– Мне-то какое дело? Я ведь с ней незнаком!

Леон мучился, придумывая, как бы ему *объясниться в любви*; вечно колеблясь между страхом оскорбить ее и стыдом за свое малодушие, он плакал от бессилия и желаний. Потом он принимал твердые решения, писал и рвал письма, назначал себе сроки и пропускал их. Он часто отправлялся к Эмме, готовый дерзнуть на все; но при ней мужество его исчезало, и когда входил Шарль и предлагал ему проехаться вместе в шарабанчике – заглянуть к какому-нибудь больному, он тотчас соглашался, раскланивался с хозяйкой и уходил. Разве ее муж – это не часть ее самой?

А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли она Леона. Любовь, думала она, должна явиться внезапно, как гром и молния; это небесный ураган, который обрушивается на жизнь, переворачивает ее, срывает желания, как лист с дерева, и уносит сердце в пучину. Она не знала, что когда засорены сточные желоба, то от дождя на террасах образуются озера, – и так и жила в спокойствии, пока вдруг не открыла в стене своего дома трещину.

V

То было днем, в одно февральское воскресенье, когда шел снег.

Все они – г-н и г-жа Бовари, Омэ и г-н Леон – отправились поглядеть строившуюся в полульё от Ионвиля, в ложбинке, льнопрядильную фабрику. Аптекарь взял с собой Наполеона и Аталию, ибо детям необходим был моцион; позади шел с зонтами на плече Жюстен.

Но трудно было найти что-нибудь менее достопримечательное, чем эта достопримечательность. Посреди огромного пустыря, где между кучами песка и булыжника там и сям валялись уже покрытые ржавчиной зубчатые колеса, стояла длинная четырехугольная постройка с множеством пробитых в ней маленьких окон. Она еще не была закончена, и между опорными балками крыши сквозило небо. На самом верху возвышался шест, и привязанный к нему пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своей трехцветной лентой.

Омэ ораторствовал. Он разъяснял компании все будущее значение предприятия, вычислял толщину полов и стен и очень жалел, что у него нет метрической линейки, какую располагает для своего личного пользования г-н Бине.

Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка опираясь на его плечо, глядела на солнечный диск, излучавший вдали, в тумане, свою ослепительную бледность; но вот она повернула голову и увидела Шарля. Фуражка у него была нахлобучена на глаза, толстые губы дрожали, что придавало всему лицу какое-то глупое выражение; самая его спина, широкая, безмятежная его спина, раздражала Эмму; даже сюртук, казалось ей, выставлял напоказ всю заурядность этого человека.

Пока Эмма глядела на мужа, черпая в своем раздражении какую-то извращенную радость, вперед выступил Леон. Он побледнел от холода, и, казалось, это наложило на его лицо отпечаток еще более мягкой томности; немного свободный воротничок рубашки приоткрывал за галстуком кусочек кожи; из-под пряди волос виднелась мочка уха, а большие голубые глаза, устремленные к облакам, казались Эмме прозрачнее и прекраснее горных озер, в которых отражается небо.

– Несчастный! – воскликнул вдруг аптекарь.

И подбежал к сыну: тот залез в кучу извести, чтобы выбелить башмачки. Наполеона стали бранить, он громко ревел, а Жюстен обтирал ему обувь жгутом соломы. Но, чтобы отскоблить известь, понадобился нож, и Шарль предложил свой.

«Ах, – подумала Эмма, – он ходит с ножом в кармане, как мужик!»

Оседал иней; вернулись в Ионвиль.

Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда за Шарлем закрылась дверь, когда она осталась одна, перед нею снова с отчетливостью почти непосредственного ощущения, в той преувеличенной перспективе, какую придает всему воспоминание, встала все та же параллель. Глядя с кровати на ярко пылающий огонь, она как живого видела перед собою Леона: он стоял, одной рукой сгибая трость, а другой держа за ручку Аталию, которая спокойно сосала льдинку. Он казался Эмме очаровательным; она не могла оторваться от него, она вспоминала его позы в другие дни, сказанные им слова, звук его голоса, все черты его облика, – и, вытягивая губы, словно для поцелуя, повторяла:

– Да, он прелесть, прелесть... Не влюблен ли он? – спросила она самое себя. – Но в кого?.. Да в меня же!

И сразу перед ней предстали все доказательства, и сердце ее затрепетало. Яркие отсветы камина весело плясали на потолке; Эмма легла на спину и потянулась всем телом.

Тогда-то начались беспрестанные вздохи: «Ах, если бы это было угодно небу! Но почему же нет? Кто мешает?..»

В полночь вернулся Шарль; Эмма сделала вид, будто только что проснулась; когда, раздеваясь, он чем-то зашумел, она пожаловалась на мигрень; потом небрежно спросила, что было на вечере.

– Господин Леон поднялся к себе очень рано, – ответил муж.

Эмма не могла сдержать улыбку и уснула, вся переполненная новым очарованием.

На другой день, когда уже стемнело, к ней явился посетитель – торговец модными товарами, некий Лере. Лавочник этот был человек очень ловкий.

Родившись в Гаскони, он затем поселился в Нормандии и соединял природное уменье южанина заговаривать зубы с осторожным кошским лукавством. Его полное, дряблое безбородое лицо было как будто окрашено отваром светлой лакрицы, а жесткий блеск маленьких черных глазок казался еще живее от седой шевелюры. Кем он был раньше, никто не знал: кто говорил – коробейником, а кто – менялой в Руто. Несомненно только одно: он производил в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бине приходил в ужас. Учтивый до приторности, он постоянно держался в чуть согнутом положении, словно кланялся или приглашал кого-то танцевать.

Положив у порога свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и с бесконечными любезностями стал жаловаться, что «сударыня» до сих пор не почтила его своим доверием. Конечно, его бедная лавчонка ничем не может привлечь такую *элегантную даму* – эти слова он особенно подчеркнул. Но ей стоит только приказать, а уж он достанет для нее все что угодно – как из приклада, так и из белья, как из шляпок, так и из галантереи: он ведь регулярно, четыре раза в месяц, ездит в город. У него связи со всеми лучшими фирмами. Его могут рекомендовать и «Три брата», и «Золотая борода», и «Долговязый дикарь», – господа владельцы этих магазинов знают его как свои пять пальцев! А сейчас он хотел только так, между прочим, показать госпоже докторше несколько вещей, доставшихся ему по самому редкостному случаю. И он вынул из картонки полдюжины воротничков с вышивкой.

Г-жа Бовари поглядела на них.

– Мне ничего не нужно, – сказала она.

Тогда г-н Лере осторожно извлек три алжирских шарфа, несколько пачек английских иголок, пару соломенных туфель и, наконец, четыре ажурных кокосовых рюмки для яиц – искусной работы арестантов. Опершись обеими руками на стол, он наклонился, вытянул шею и,

приоткрыв рот, следил за взглядом Эммы, нерешительно блуждавшим по всем этим товарам. Время от времени ловкий купец, будто снимая пылинку, проводил ногтем по разостланным во всю длину шелковым шарфам, и они трепетали, шурша, и, словно звездочки, блестели в зеленоватом свете сумерек золотые прожилки ткани.

– Сколько это стоит?

– Пустяки, – отвечал Лере, – пустяки. Да мне не к спеху – когда вам будет угодно. Мы ведь не жохим какие-нибудь!

Эмма несколько секунд подумала и в конце концов отказалась, поблагодарив г-на Лере, но он, несколько не удивившись, ответил:

– Ну, мы потом столкнемся; я ведь со всеми дамами лажу, кроме своей жены!

Эмма улыбнулась.

– То есть я хотел сказать, – добродушно заговорил Лере после своей шутки, – что забочусь не о деньгах... Денег я бы вам и сам дал, если угодно.

У Эммы вырвался удивленный возглас.

– Право! – быстро и тихо сказал Лере. – Мне бы для вас за ними не пришлось далеко ходить. Имейте это в виду!

И тут же стал расспрашивать о здоровье хозяина кафе «Франция», дядюшки Телье, которого в это время лечил г-н Бовари.

– Что это с дядюшкой Телье?... Он так кашляет, что весь дом трясется; боюсь, что скоро ему понадобится уже не фланелевая фуфайка, а еловое пальто. Как он гулял в молодые годы! Эти люди, сударыня, не знают никакой меры! Он просто весь иссох от водки!.. А все-таки очень тяжело, когда умирает старый знакомый.

Застегивая картонку, он стал рассуждать о клиентуре господина доктора.

– Все эти болезни, – сказал он, хмуро поглядывая на окна, – конечно, от погоды. Я тоже чувствую себя не совсем в своей тарелке; пожалуй, надо будет на днях зайти посоветоваться с господином Бовари: спина совсем разболелась. Итак, до свиданья, сударыня. Весь в вашем распоряжении. Покорнейший слуга!

И он тихонько закрыл за собой дверь.

Обед Эмма приказала подать на подносе к себе в комнату, к камину; она ела не торопясь, все казалось ей очень вкусным.

«Как я умно поступила!» – подумала она, вспомнив о шарфах.

На лестнице послышались шаги: это был Леон. Эмма встала и взяла с комода первое попавшееся неподрубленное полотенце из стопки. Когда он вошел, она, казалось, была поглощена работой.

Разговор тянулся вяло; г-жа Бовари поминутно прерывала его, а гость и сам был как будто совсем смущен. Он сидел у камина на низеньком стуле и вертел в пальцах футлярчик слоновой кости; она же работала иглой, время от времени заглаживая рубец ногтем. Эмма ничего не говорила; Леон, очарованный ее молчанием, как в другое время ее речами, тоже не произносил ни слова.

«Бедный мальчик!» – думала она.

«Чем же я ей не угодил?» – спрашивал он себя.

Наконец Леон сказал, что на днях ему придется съездить по делам конторы в Руан.

– Кончился ваш нотный абонемент, – возобновить его?

– Нет, – отвечала Эмма.

– Почему?

– Потому что...

И, закусив губу, она вытянула длинную серую нитку.

Эта работа раздражала Леона. Ему казалось, что Эмма колет себе пальцы; в голову ему пришла галантная фраза, но он не осмелился произнести ее.

– Так вы прекращаете? – заговорил он снова.

– Что? – живо переспросила Эмма. – Музыка? Ну, конечно, боже мой! Ведь мне надо вести хозяйство, ухаживать за мужем, – у меня масса забот, множество более важных обязанностей.

Она взглянула на часы. Шарль запаздывал. И вот она сделала вид, что беспокоится.

– Он такой добрый! – несколько раз повторила она.

Клерк очень уважал г-на Бовари. Но подобная нежность неприятно удивила его; тем не менее он продолжал расточать врачу похвалы; впрочем, он, по его словам, слышал их ото всех, и особенно от аптекаря.

– Ах, это прекрасный человек! – сказала Эмма.

– Несомненно, – ответил клерк.

И заговорил о г-же Омэ. Над ее небрежным туалетом оба обычно смеялись.

– Что ж в этом такого? – прервала его Эмма. – Хорошая мать семейства не думает о нарядах.

И снова погрузилась в молчание.

Точно так же продолжалось и в следующие дни. Все в ней изменилось – и речи, и манеры. Теперь она близко принимала к сердцу хозяйство, регулярно ходила в церковь и строже прежнего держала служанку.

Берту она взяла от кормилицы. Когда бывали гости, Фелиситэ приносила ее в комнату, г-жа Бовари раздевала девочку, показывала всем ее тельце. Она заявляла, что обожает детей – это ее утешение, ее радость, ее безумие. Свои ласки она сопровождала патетическими излияниями, которые всюду, кроме Ионвиля, напоминали бы вретнищницу из «Собора Парижской богородицы».

Придя домой, Шарль всегда находил у камина согретые туфли. Теперь не стало у него ни жилетов без подкладки, ни сорочек без пуговиц; приятно было глядеть на его ночные колпаки, ровными стопками разложенные в бельеовом шкафу. Гуляя с ним по саду, Эмма уже не дулась, как прежде; что бы он ни предложил, она всегда соглашалась, хотя бы и не понимала тех желаний, которым подчинялась без малейшего ропота. И когда после обеда г-н Бовари сидел у камина, сложив руки на животе и поставив ноги на решетку, когда щеки его румянились от сытости, а глаза увлажнялись от счастья, когда его дочурка ползала по ковру, а эта женщина, сгибая свой тонкий стан, наклонялась через спинку кресла и целовала его в лоб, – Леон глядел на него и думал: «Какое безумие! И как добиться ее?..»

Эмма казалась ему такой добродетельной и недоступной, что всякая, даже смутная надежда окончательно покинула его.

Но благодаря такому отречению он поставил любимую на совершенно исключительное место. Образ ее очистился от плотской прелести, которую ему не суждено было познать; в его сердце она поднималась все выше, великолепным взлетом апофеоза отделяясь от мира. То было одно из тех чистых увлечений, которые не мешают никаким житейским занятиям, дороги людям своею необычностью, и не столько радости дают они, пока длятся, сколько горя приносят их конец.

Эмма похудела, щеки ее покрылись бледностью, лицо осунулось. Черные волосы, большие глаза, правильный нос, плавная поступь, всегдашняя молчаливость, – казалось, что эта женщина проходит в жизни, едва к ней прикасаясь и неся на челе неясную печать какого-то великого предназначения. Она была так грустна и так спокойна, так нежна и в то же время так сдержанна, что от нее веяло неземным очарованием; так в церкви содрогаешься от запаха цветов, пронизанного холодом мрамора. Другие тоже поддавались ее прелести. Аптекарь говорил:

– Это чрезвычайно одаренная женщина; она оказалась бы на месте даже в супрефектуре!

Хозяйки восхищались ее бережливостью, пациенты – ее учтивым обращением, бедные – ее добрым сердцем.

А она была полна вожделений, неистовой страстности, ярости. За этим падающим прямыми складками платьем скрывалось потрясенное сердце, эти столь целомудренные губы не выдавали его мучений. Она была влюблена в Леона и искала одиночества, чтобы свободно наслаждаться его образом. Встречи нарушали сладострастие ее дум. При звуке шагов любимого Эмма трепетала, в его же присутствии волнение затихало и оставалось лишь безмерное изумление, переходившее в грусть.

Когда Леон в полной безнадежности уходил от нее, он не знал, что она вставала с места вслед за ним, чтобы посмотреть на него из окна. Ее беспокоил каждый его шаг; она следила за выражением его лица; она выдумывала целые истории, чтобы только изобрести предлог зайти в его комнату; она завидовала счастью аптекарши, которая спала с ним под одной кровлей; мысли ее вечно стремились к этому дому, словно голуби из «Золотого льва», которые летали туда купать в сточном желобе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее видела Эмма свою любовь, тем больше бежала от нее, боясь ее выдать, желая ее ослабить. Ей так хотелось, чтобы Леон догадался! И она придумывала всяческие случайности, катастрофы, которые могли бы ей помочь. Удерживали ее, конечно, лень или страх, а также стыд. Она думала, что уж слишком далеко оттолкнула его, что теперь поздно, что все пропало. А женское тщеславие, радостная мысль: «Я добродетельна» и удовольствие глядеться в зеркало, принимая позы самоотречения, немного вознаграждали ее за ту жертву, какую она, думалось ей, принесла.

И вот, плотские желания, жажда денег, меланхолия страсти – все слилось в единой муке; и вместо того чтобы отвращаться от нее мыслью, Эмма все больше тянулась к ней, возбуждая себя к страданию, и повсюду искала к нему поводов. Ее раздражали и плохо поданное блюдо, и неплотно закрытая дверь, она вздыхала по бархату, которого у нее не было, по счастью, которого ей не хватало, стонала от слишком высоких своих мечтаний и слишком тесного своего дома.

Но в полное отчаяние приводило ее то, что Шарль, по-видимому, и не подозревал ее терзаний. Его уверенность, что он дает ей счастье, казалась ей нелепостью и оскорблением, его спокойствие – неблагодарностью. Для кого же была она так благоразумна? Не он ли был препятствием на пути ко всякому счастью, причиною всех горестей, как бы острым шпильком на тех бесчисленных ремнях, которые стягивали ее со всех сторон?

И Эмма перенесла на него одного всю многообразную ненависть, рождавшуюся из всех ее несчастий; и всякая попытка ослабить это чувство только увеличивала его, ибо такое тщетное усилие становилось лишней причиной отчаяния и еще больше углубляло разрыв. Эмма, наконец, взбунтовалась против собственной кротости. Убожество домашнего быта толкало ее к мечтам о роскоши, супружеская нежность – к жажде измены. Ей хотелось, чтобы Шарль бил ее: тогда она получила бы право ненавидеть его и мстить. Иногда она сама удивлялась жестоким выдумкам, приходившим ей в голову; а между тем надо было по-прежнему улыбаться, слушать, как ее вновь и вновь называли счастливой, притворяться, что так оно и есть на самом деле, позволять другим так думать!

Но это лицемерие было ей отвратительно. Ее охватывало искушение бежать с Леоном – все равно куда, только бы подальше, и там испытать новую судьбу; но тогда в душе ее открывалась смутная пропасть, полная мрака.

«Да он уж и не любит меня, – думала она. – Что мне делать? Какой ждать помощи, какой утехи, какого облегчения?»

И, чувствуя себя разбитой, задыхаясь, обессилив, она тихо рыдала, и слезы ее текли ручьем.

– Почему бы не сказать барину? – спрашивала служанка, заставляя ее во время таких припадков.

– Это нервы, – отвечала Эмма. – Не говори ему, он только огорчится.

– Ах, да, – подхватывала Фелиситэ, – с вами то же самое, что с Гериной, с дочкой дядюшки Герена, рыбака из Полле. Я знала ее в Дьеппе, когда еще не жила у вас. Она была такая грустная, что когда, бывало, стоит на пороге, так и кажется, будто в доме покойник и перед дверью натянули черное сукно. У нее была такая болезнь – вроде тумана в голове, и ни врачи ничего не могли с ней поделать, ни кюре. Когда ее уж очень схватит, она, бывало, уйдет одна на берег моря. Ее часто находил при обходе таможенник: лежит ничком на камешках и плачет. А как вышла замуж, все, говорят, прошло.

– А вот у меня, – отвечала Эмма, – как я вышла замуж, так все и началось.

VI

Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела на причетника Лестибудуа, который подрезал буксовые кусты. Но вот он ушел – и раздался звон к вечерне.

Было начало апреля, когда цветут подснежники, теплый ветер кружится по взрыхленным грядкам, и сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь плетенье беседки далеко по сторонам виден был луг, и река причудливыми изгибами вырисовывалась на его траве. Вечерний туман сквозил между безлистными тополями, скрадывая их контуры лиловой дымкой, легкой и прозрачной, будто повисший на сучьях тонкий газ. Вдали брело стадо; не слышно было ни топота, ни мычания; а колокол непрерывно тянул в воздухе свои мирные жалобы.

Под этот монотонный звон мысль женщины блуждала в старых воспоминаниях юности и пансиона. Она вспоминала свечи, возвышавшиеся на алтаре над вазами с цветами, дарохранительницу с колонками. Ей хотелось замешаться, как тогда, в длинный ряд белых косынок, кое-где разделенный тугими черными капюшонами монахинь, преклонявших колени на скамеечках; в воскресенье, поднимая за обедней голову, она видела между синеватыми столбами восходящего кверху ладана кроткое лицо пречистой девы. И вот на нее нахлынуло умиление; она почувствовала себя одинокой, слабой, словно пушинка, подхваченная вихрем; она безотчетно направилась в церковь, готовая на любой благочестивый подвиг, только бы он поглотил ее душу, только бы в нем растворилась вся жизнь.

На площади Эмма встретила Лестибудуа, возвращавшегося с колокольни; он спешил вернуться к прерванной работе и в интересах ее, чтобы не терять времени, звонил к вечерне тогда, когда ему было удобнее. К тому же более ранний благовест созывал мальчишек на урок катехизиса.

Иные из них уже пришли и играли на кладбищенских плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая своими деревянными башмаками высокую крапиву, разросшуюся между крайними могилами и низенькой стеной. Это была единственная полоска зелени: дальше шел сплошной камень, постоянно покрытый мелкой пылью, несмотря на метлу пономаря.

Ребятишки в холщовых туфлях бегали там, словно то был нарочно для них настланный паркет, и голоса их прорывались сквозь колокольный гул. Он слабел, и сокращались размахи толстой веревки, которая волочилась концом по земле, спускаясь из-под крыши. Разрезая воздух своим лётом, с писком проносились ласточки и быстро исчезали в гнездах, желтевших под черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, то есть фитиль от ночника в подвешенной площадке. Свет ее казался издали мутным пятном, трепещущим в масле. Длинный солнечный луч пересекал весь неф, и от этого еще темнее были все углы и боковые приделы.

– Где кюре? – спросила г-жа Бовари у мальчика, который из озорства дергал слабо державшийся в земле турникет.

– Сейчас придет.

В самом деле дверь церковного дома скрипнула, показался аббат Бурнисьен; дети, толкаясь, побежали в храм.

– Вот сорванцы! – проворчал священник. – Вечно одно и то же!

И он поднял изодранный катехизис, который только что задел ногой.

– Ничего не уважают!..

Но, увидев г-жу Бовари, он сказал:

– Простите, не узнал вас!

И, сунув катехизис в карман, остановился, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы.

Заходящее солнце било ему прямо в лицо, и под его лучами казалась светлее блестящая на локтях и обтрепанная по подолу ластиковая сутана. На широкой груди вдоль ряда пуговиц тянулись сальные и табачные пятна; особенно много их было пониже белого галстука, на котором покоились пышные складки красной кожи; лицо священника было усеяно желтоватыми пятнами, прятавшимися за жесткой, седеющей щетиной. Он только что пообедал и громко сопел.

– Как поживаете? – добавил он.

– Плохо, – отвечала Эмма. – Мне очень тяжело.

– И мне тоже, – сказал служитель церкви. – Просто удивительно, как расслабляет всех эта первая жара. Ну, что делать! Все мы рождены для страданий, как говорит святой Павел. А что об этом думает господин Бовари?

– Он-то! – презрительно махнув рукой, произнесла Эмма.

– Что вы говорите! – изумленно воскликнул добродушный кюре. – Неужели он вам ничего не прописывает?

– Ах, – сказала Эмма, – мне нужны не телесные лекарства.

Но кюре все поглядывал на церковь, где ребятишки, стоя на коленях, подталкивали друг друга плечом и падали, как карточные домики.

– Я хотела бы знать... – снова заговорила она.

– погоди, погоди, Рибуде! – гневным голосом закричал священник. – Вот я тебе уши нарву, постреленок!

И он повернулся к Эмме.

– Это сын плотника Буде; родители его люди с достатком и балуют этого шалуна направо. А если бы он только захотел, то отлично бы учился: очень способный мальчишка. Так вот, я иногда в шутку называю его Рибуде (знаете, как ту горку, мимо которой ходят в Маромме) и даже говорю так: горе-Рибуде. Ха-ха-ха! Гора Рибуде – горе Рибуде. Как-то раз я сообщил эту шутку его преосвященству, и он смеялся... изволил смеяться. А как поживает господин Бовари?

Эмма, казалось, не слушала.

– Завален работой, конечно, – продолжал кюре. – Ведь мы с ним самые занятые люди во всем приходе. Но только он врачует тело, – с густым смехом добавил он, – а я – душу.

Эмма устремила на священника умоляющий взгляд.

– Да... – сказала она, – вы утешаете во всех скорбях.

– Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Вот и сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Диовиль, и все из-за коровы: ее *раздуло*, а они думают, будто это порчу напустили. Все коровы хворают – сам не знаю почему... Но простите! Лонгмар и Буде! Перестанете вы или нет, дрянные озорники?

И он ринулся в церковь.

Ребятишки, сгрудившись вокруг высокого аналоя, влезали на скамейку для певчих, открывали требник; некоторые, крадучись, уже подбирались к исповедальне. Но тут на них налетел кюре, рассыпая кругом град оплеух. Он хватал мальчишек за шиворот, поднимал на

воздух и с размаху ставил на колени, словно желая вбить в каменные плиты пола. Наконец он вернулся к собеседнице.

– Да, – сказал он и, зажав в зубах кончик огромного ситцевого носового платка, стал развертывать его. – Несчастные крестьяне!

– Есть и другие несчастные, – отвечала Эмма.

– Да, конечно! Например, городские рабочие.

– Нет, не они...

– Ну, уж простите! Я сам знавал бедных матерей семейств, добродетельнейших женщин, настоящих святых, уверяю вас. И что же, у них даже хлеба вдоволь не было!

– Но те, – заговорила Эмма, и углы ее рта дрогнули, – те, господин кюре, у которых есть хлеб, но нет...

– Дров на зиму? – сказал священник.

– Ах, не велика беда!

– Как – не велика беда! А мне кажется, что если человек сыт, одет, обут, то... в конце концов...

– Боже мой! Боже мой! – вздыхала Эмма.

– Вам нехорошо? – сказал кюре и беспокойно придвинулся поближе. – Это, верно, что-нибудь с пищеварением. Вам бы, госпожа Бовари, пойти домой да выпить чаю или стаканчик холодной сахарной воды; вам станет лучше.

– Зачем?

Она словно только что проснулась.

– Ведь вы провели рукой по лбу. Я и подумал, что у вас закружилась голова.

Но тут он вспомнил:

– Да, вы меня о чем-то хотели спросить? В чем же дело? Я ведь не знаю.

– Я? Нет, ничего... ничего... – повторяла Эмма.

И взгляд ее, блуждавший вокруг, медленно опустился на старика в сутане. Оба, не говоря ни слова, смотрели друг другу в лицо.

– Ну, тогда, госпожа Бовари, – сказал, наконец, священник, – извините меня; ведь вы сами знаете – долг прежде всего; надо мне разделаться с моими повесами. Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы не вышло какого сюрприза. Так что с самого вознесенья я регулярно каждую среду задерживаю их на лишний час. Бедные ребятишки! Все же надо торопиться направлять их по пути господа, как он, впрочем, и сам завещал нам устами своего божественного сына... Доброго здоровья, сударыня, мое почтение вашему супругу!

И он вошел в церковь, сначала преклонив у входа колени.

Эмма видела, как он, тяжело ступая, слегка склонив голову набок, шагал, расставив руки, и скрылся между двойным рядом скамеек.

Тогда она сразу, точно статуя на оси, повернулась назад и пошла домой. Но еще долго слышны были ей звучащие позади звонкие голоса мальчишек и зычный голос священника:

– Ты христианин?

– Да, я христианин.

– Что такое христианин?

– Это тот, кто будучи окрещен... окрещен... окрещен...

Эмма поднялась на крыльцо, держась за перила, и, как только очутилась в своей комнате, упала в кресло.

Белесоватый свет мягко и волнисто проникал сквозь окна. Мебель казалась еще неподвижнее, чем обычно, и терялась в тени, словно в сумрачном океане. Камин погас, непрерывно тикал маятник, и Эмма смутно изумлялась тому, что вещи так спокойны, когда в ней бушует такое волнение. А между окном и рабочим столиком ковыляла в своих вязаных башмачках маленькая Берта; она пыталась подойти к матери и ухватиться за тесьму ее передника.

– Оставь меня! – сказала Эмма, отстраняя ее рукой.

Но вскоре девочка еще ближе подошла к ее коленям; упершись в них ручками, она подняла большие голубые глаза, и струйка прозрачной слюны стекла с ее губ на шелковый передник Эммы.

– Оставь меня! – раздраженно повторила мать.

Выражение ее лица испугало Берту; ребенок раскричался.

– Ах, да оставь же меня! – И Эмма толкнула девочку локтем.

Берта упала около комода и ударилась о медную розетку; она расцарапала себе щечку, показалась кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, стала очень громко звать служанку и уже начала проклинать себя, когда появился Шарль. Было обеденное время, и он вернулся домой.

– Погляди, дорогой мой, – спокойным голосом сказала ему Эмма, – крошка играла и разбила об пол.

Шарль стал ее утешать: ничего страшного нет! И он пошел за пластырем.

Г-жа Бовари не спускалась в столовую, она хотела одна охранять свое дитя. Но Берта заснула, беспокойство понемногу совсем рассеялось, и Эмма сама себе показалась слишком глупой и доброй, что взволновалась из-за таких пустяков. В самом деле, Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце едва заметно шевелилось теперь от ее дыхания. Крупные слезы блестели в уголках полузакрытых запавших глаз, и за ресницами виднелись матовые белки; липкий пластырь, наклеенный на щеку, наискось стягивал кожу.

«Удивительно, как безобразен этот ребенок!» – думала Эмма.

Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вечера (он пошел туда после обеда возвратить остаток пластыря), Шарль застал жену у колыбели.

– Да говорю я тебе, ничего не будет, – сказал он, целуя ее в лоб. – Не мучь себя, бедняжка, голубушка, ты сама захвораешь!

В тот вечер Шарль засиделся у аптекаря. Хотя он и не выказывал особой тревоги, г-н Омэ все же силился ободрить его, *поднять его моральное состояние*. И разговор шел о разнообразных опасностях, угрожающих детям, о неосторожности прислуги. Об этом могла кое-что порассказать г-жа Омэ: у нее до сих пор остались на груди следы от раскаленных углей, которые когда-то кухарка уронила ей за фартук из совка! Поэтому теперь добрые родители Омэ принимали целый ряд предосторожностей. Ножи в их доме никогда не точились, полы никогда не натирались. Окна были забраны решетками, а перед каминами устроены барьеры из крепких прутьев. При всей своей самостоятельности маленькие Омэ шагу не могли ступить, чтобы за ними кто-нибудь не следил; при малейшей простуде отец начинал пичкать их грудными каплями, и вплоть до пятого года всех их безжалостно заставляли носить стеганные ватные шапочки. Правда, это уж была мания г-жи Омэ; супруг ее глубоко огорчился таким распоряжением, опасаясь возможного вреда для мыслительных способностей. Иногда он даже возмущался и говорил жене:

– Ты что же, хочешь сделать из них карайбов или ботокудов?

Между тем Шарль несколько раз пытался прервать беседу.

– Мне надо с вами поговорить, – прошептал он на ухо клерку, который на лестнице оказался впереди него.

«Неужели он что-то подозревает?» – спрашивал себя Леон. Сердце его билось, он терялся в предположениях.

Наконец Шарль, закрыв за собою дверь, попросил его лично разузнать в Руане, сколько должен стоять хороший дагерротип: он готовил жене чувствительный сюрприз, особенно тонкий знак внимания – свой портрет в черном фраке. Но сначала он хотел знать, *во что это обойдется*; впрочем, такое поручение и не могло особенно затруднить г-на Леона: ведь он все равно бывает в городе почти каждую неделю.

А зачем бывает? Омэ подозревал тут какие-то *юношеские шалости*, какую-то интрижку. Но он ошибался: у Леона никаких романов не было. Никогда еще он не казался таким печальным, и г-жа Лефрансуа замечала это по тому, как много еды оставалось у него теперь на тарелке. Желая выведать тайну, она принялась расспрашивать сборщика налогов; Бине грубо ответил, что *в полиции не служит*.

Однако и на него приятель производил очень странное впечатление: за обедом Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками, в туманных выражениях жаловался на жизнь.

– Беда в том, что у вас мало развлечений, – говорил ему сборщик.

– Каких?

– Я бы на вашем месте завел токарный станок.

– Работать я на нем не умею, – отвечал клерк.

– Да, это так! – подтверждал Бине, высокомерно и самодовольно поглаживая подбородок.

Леона утомила бесплодная любовь; кроме того, он уже ощущал и ту подавленность, которую порождает однообразное, унылое существование, когда им не управляет никакой интерес, когда его не оживляют никакие надежды. Ему так наскучили Ионвиль и ионвильцы, что некоторые люди, некоторые дома одним своим видом вызывали в нем непреодолимое раздражение: аптекарь, при всем своем добродушии, становился ему совершенно невыносимым. А между тем перспектива нового положения столько же пугала его, сколько и соблазняла.

Но скоро все эти страхи перешли в нетерпение, и Париж зашумел в его ушах отдаленными фанфарами маскарадов и хохотом гризеток. Ведь ему все равно надо заканчивать юридическое образование. Так что же он не едет? Кто ему мешает? И он начал внутренне готовиться. Прежде всего он обдумал свои будущие занятия. Мысленно он обставил себе квартиру. Там он будет жить артистической жизнью! Будет учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский берет, голубые бархатные туфли! И он уже с восхищением видел над своим будущим камином две скрепленные рапиры, а повыше – гитару и череп.

Самое трудное было получить согласие матери; но переезд в Париж казался шагом как нельзя более благоразумным. Даже сам патрон советовал ему поработать в другой конторе, где он мог бы развернуться пошире. Итак, Леон принял среднее решение, стал искать место младшего клерка в Руане, не нашел и, наконец, написал матери длинное и подробное письмо, в котором изложил все основания для немедленного переезда в Париж. Мать согласилась.

Леон не торопился. Целый месяц Ивер каждый день возил ему из Ионвиля в Руан и из Руана в Ионвиль сундуки, баулы, чемоданы; и, починив весь гардероб, переменив обивку на своих трех креслах, закупив целый запас фуляра – словом, подготовившись так, как будто бы дело шло по крайней мере о кругосветном путешествии, Леон стал откладывать отъезд с недели на неделю, пока, наконец, не получил от матери второе письмо, в котором она торопила его: ведь он хотел сдать экзамены до каникул.

Когда наступил момент прощальных объятий, г-жа Омэ заплакала; Жюстен разрыдался; Омэ, как сильный человек, скрыл свое волнение; он только захотел сам донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который отвозил Леона в Руан в своей коляске. Леону оставалось как раз столько времени, чтобы успеть попрощаться с г-ном Бовари.

Взбежав по лестнице, он остановился на месте – так он задыхался. Когда он вошел, г-жа Бовари быстро встала.

– Снова я! – сказал Леон.

– Я так и знала.

Она закусила губы, кровь бросилась ей в лицо – она вся порозовела от корней волос до самого воротничка. Так стояла она, прислонившись плечом к стене.

– Господина Бовари нет дома? – заговорил Леон.

– Нет.

И повторила:

– Нет.

Тогда наступило молчание. Оба глядели друг на друга; и мысли их сливались в единой тоске, тесно сближались, как две трепещущие груди.

– Мне хотелось бы поцеловать Берту, – сказал Леон.

Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелиситэ.

Леон быстрым взглядом окинул стены, этажерку, камин и все, что было вокруг, словно желая во все проникнуть, все унести с собой.

Но вернулась Эмма, а служанка привела Берту; та размахивала веревочкой, на которой висела крыльями вниз ветряная мельница.

Леон несколько раз поцеловал ее в шейку.

– Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая малютка, прощай! – и отдал ее матери.

– Уведите ее, – сказала та.

Они остались одни.

Г-жа Бовари повернулась к Леону спиной и стояла, прижавшись лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге.

– Дождь будет, – сказала Эмма.

– У меня плащ, – ответил он.

– А!

Она обернулась, пригнув подбородок, наклонив голову; свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самой дуги бровей, и нельзя было знать, что разглядывала Эмма на горизонте, о чем она думала, что таилось в глубине ее души.

– Итак, прощайте! – вздохнул Леон.

Она резким движением подняла голову.

– Да, прощайте... Пора!

Оба двинулись друг к другу; он протянул руку, она заколебалась.

– Ну, по-английски, – сказала она, наконец, и, силясь улыбнуться, подала руку.

Леон ощутил ее в своих пальцах; ему казалось, что все токи его существа проникали в эту влажную кожу.

Потом он разжал руку; глаза их встретились еще раз, и он исчез.

Очутившись под рыночным навесом, он остановился и спрятался за столб, чтобы в последний раз поглядеть на белый домик с четырьмя зелеными жалюзи. Ему почудилась тень за окном; но тут занавеска словно сама собой отцепилась от розетки, медленно шевельнула своими длинными косыми складками, и вдруг все они сразу разгладились и выпрямились недвижимее каменной стены. Леон побежал.

Он издали увидел на дороге кабриолет своего патрона, а впереди человек в холщовом переднике держал под уздцы лошадь. Тут же болтали Омэ и г-н Гильомен. Его ждали.

– Обнимите меня, – со слезами на глазах проговорил аптекарь. – Вот ваше пальто, дорогой друг; остерегайтесь простуды! Следите за здоровьем! Берегите себя!

– Ну, Леон, садитесь! – сказал нотариус.

Омэ перегнулся через крыло и прерывающимся от слез голосом произнес печальные слова:

– Счастливого пути!

– До свидания, – отвечал г-н Гильомен. – Трогай!

Коляска покатила. Омэ пошел домой.

Г-жа Бовари открыла у себя окно в сад и глядела на тучи.

Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро катились черными клубами и, словно стрелы висевшего в облаках трофея, падали из-за них на землю широкие лучи солнца; остальная часть неба была покрыта фарфоровой белизной. Но вдруг тополя согнулись под порывом

ветра – и полил, застучал по зеленым листьям дождь. Потом снова выглянуло солнце, закудахтали куры, захлопали крылышками в мокрых кустах воробьи, побежали по песку ручьи и понеслись по ним розовые цветочки акаций.

«Ах, он теперь уже далеко!» – подумала Эмма.

В половине седьмого, во время обеда, как всегда, пришел г-н Омэ.

– Ну, – сказал он, садясь, – значит, проводили мы нашего юношу?

– Видимо, да! – отвечал врач.

И, повернувшись на стуле, спросил:

– А у вас что нового?

– Ничего особенного. Только жена была немного взволнована. Вы сами знаете женщин: их тревожит всякий пустяк! А мою жену особенно. Да против этого и нельзя восставать – ведь у них нервная организация гораздо податливее нашей.

– Бедный Леон! – говорил Шарль. – Каково-то ему будет в Париже?.. Приживется ли он там?

Г-жа Бовари вздохнула.

– Да бросьте вы! – сказал аптекарь и прищелкнул языком. – Пирушки у рестораторов! Маскарады! Шампанское! Уверяю вас, все будет прекрасно.

– Я не думаю, что он станет кутить, – возразил Бовари.

– Я тоже! – живо подхватил г-н Омэ. – Но ведь ему надо будет принаравливаться к товарищам, не то он рискует прослыть ханжой. А вы еще не знаете, какую жизнь ведут эти повесы в Латинском квартале, с актрисами! Впрочем, студенты пользуются в Париже отличным положением. Всякого из них, кто обладает хоть какими-нибудь приятными талантами, принимают в лучшем обществе; в них даже влюбляются некоторые дамы из Сен-Жерменского предместья, что впоследствии дает им возможность жениться весьма выгодно.

– Но я боюсь, – сказал врач, – что там...

– Вы совершенно правы, – перебил его аптекарь, – это обратная сторона медали! Там надо постоянно беречь карманы. Вот вы, предположим, гуляете в общественном саду; появляется какой-то господин, он хорошо одет, даже при ордене – можно принять за дипломата; он подходит к вам, завязывает разговор, старается угодить – предложит понюшку табаку, поднимет вам шляпу. Потом вы сходите ближе; он ведет вас в кафе, приглашает в свое поместье, знакомит за вином со всякими людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста все это только для того, чтобы стащить у вас кошелек или втянуть вас в какую-нибудь пагубную затею.

– Это так, – отвечал Шарль, – но я-то главным образом думал о болезнях, например о тифозной горячке. Ею часто заболевают студенты из провинции...

Эмма вздрогнула.

– От перемены режима, – подхватил фармацевт, – а также от получающегося в результате такой перемены потрясения во всем состоянии организма. А потом, знаете ли, парижская вода! Ресторанный стол! Все эти пряные кушанья в конце концов только горячат кровь, и что там ни говори, не стоят наваристого бульона. Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню: это здоровее! Поэтому, когда я изучал в Руане фармацию, то жил на полном пансионе; я столовался с профессорами.

И он продолжал излагать свои общие взгляды и личные склонности, пока за ним не явился Жюстен и не сказал, что надо приготовить гоголь-моголь.

– Ни мгновенья покоя! – воскликнул Омэ. – Вечно прикован к месту! Ни на минуту не могу выйти! Я исхожу кровавым потом, как рабочая лошадь! О, ярмо нищеты!

С порога он обернулся:

– Между прочим, – сказал он, – вы знаете новость?

– Какую?

– Весьма возможно, – поднимая брови и принимая серьезнейшее выражение, ответил Омэ, – что в этом году местом Земледельческого съезда Нижней Сены будет Ионвиль л'Аббэй. По крайней мере такие циркулируют слухи. На это намекают и в сегодняшней газете. Для нашего округа это имело бы самое исключительное значение! Но об этом мы еще побеседуем. Благодарю вас, я отлично вижу: у Жюстена фонарь.

VII

Следующий день был для Эммы очень мрачным. Все кругом казалось ей покрытым какой-то черной дымкой, колыхавшейся на поверхности вещей; и, тихо воя, словно зимний ветер в заброшенном замке, все глубже уходило в ее душу горе. Ее терзали и мечты о том, что уже не вернется, и усталость, охватывающая человека после каждого завершенного поступка, и, наконец, та боль, которую причиняет перерыв всякого привычного волнения, внезапное прекращение длительного трепета.

Как и по возвращении из Вобьессара, когда в голове ее вихрем кружились кадрили, она впала в мрачную меланхолию, томилась безнадежностью. Леон представлялся ей выше, прекраснее, милее, загадочнее, чем когда бы то ни было; покинув ее, он с нею не расставался, он был здесь, – казалось, стены комнат сохранили его тень. Эмма не могла оторвать взгляд от ковра, по которому он ходил, от пустых стульев, на которых он сидел. Река все текла, медленно катила мелкие волны мимо отлогого берега. Сколько раз гуляли они здесь по замшелым камням, под такой же ропот волн! Как хорошо светило им солнце! Как хорошо было в тени, в глубине сада! Сидя без шляпы на скамье с сухими, трухлявыми подпорками, он читал вслух; свежий ветер с луга шевелил страницы книги и настурций у беседки... Ах, исчезло единственное очарование ее жизни, исчезла единственная надежда на возможное блаженство! Как могла она не ухватиться за это счастье, когда оно было так близко! Зачем не удержала она его обеими руками, зачем не встала перед ним на колени, когда он захотел бежать? И она проклинала себя за то, что не полюбила Леона, она жаждала его губ. Ей не терпелось побежать к нему, броситься в его объятия, сказать ему: «Это я, я твоя!» Но она заранее страшилась препятствий, и желания ее, осложняясь досадой на себя, становились от этого только еще острее.

И вот воспоминание о Леоне сделалось как бы средоточием ее тоски; оно искрилось в душе ярче, чем костер, оставленный путешественниками на снегу в русской степи. Эмма кидалась к нему, вся съезжившись, осторожно ворошила этот готовый погаснуть очаг, она всюду искала теперь, чем бы оживить его пламя; самые отдаленные воспоминания и самые близкие случаи, все, что она переживала, и все, что она воображала, свои мечты о сладострастии, которые разметал ветер, свои планы счастья, которые трещали в пламени, как сухой хворост, свою бесплодную добродетель, свои несбывшиеся надежды, свои домашние мелочи – все собирала она, все подхватывала, всем пользовалась, чтобы разжечь свою горечь.

Но то ли уж нечего было больше бросать в костер, то ли брошено было слишком много, но огонь утих. Любовь мало-помалу угасла в разлуке, сожаление потушила привычка, и зарево пожара, которое обагряло бледное небо Эммы, покрылось тенью и постепенно стерлось. В дремоте, окутавшей ее сознание, она даже приняла отвращение к мужу за тягу к возлюбленному, ожоги ненависти – за тепло нежности; но ураган все дул, и страсть перегорала в пепел, ниоткуда не приходила помощь, ниоткуда не пробивалось солнце, – со всех сторон ее охватил беспросветный мрак, и она гибла в этом ужасном, пронизывающем холоде.

И тогда вновь, как в Тосте, наступили тяжелые дни. Теперь Эмма считала себя еще несчастнее, ибо у нее уже был опыт горя и уверенность, что ему не будет конца.

Женщина, возложившая на себя такие жертвы, имеет право позволить себе кое-какие прихоти. Эмма купила готическую скамеечку для молитвы и в один месяц извела четырнадцать франков на лимоны для полировки ногтей; она выписала себе из Руана голубое кашемировое

платье; она выбрала у Лере самый красивый шарф; она повязывала им талию поверх капота и, закрыв ставни, лежала в этом наряде на диване, с книжкой в руках.

Она стала часто менять прическу: то убирала голову по-китайски, то мягкими локонами, то заплетала косы; потом сделала себе сбоку пробор и подвернула волосы по-мужски.

Ей захотелось выучиться итальянскому языку; она накупила словарей, приобрела грамматику, запас чистой бумаги. Попыталась читать серьезные книги по истории и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вскакивал, – ему казалось, что зовут к больному.

– Иду, – бормотал он.

А это Эмма чиркала спичкой, зажигая лампу. Но если вышиванье свелось к тому, что целый шкаф был завален еле начатыми работами, то и с чтением кончилось тем же: Эмма брала книгу, бросала и переходила к другой.

С ней бывали настоящие припадки, когда ее легко можно было толкнуть на любую экстравагантность. Однажды она заспорила с мужем, что выпьет полстакана водки, и так как Шарль имел глупость поддразнивать ее, то она и проглотила все до дна.

Но, несмотря на свои легкомысленные повадки (именно так выражались ионвильские дамы), Эмма все же не казалась веселой, и углы ее рта были постоянно опущены, как у старой девы или у разочарованного честолобца. Она всегда была бледна, бела как снег; кожа на носу стянулась к ноздрям, глаза смотрели на людей как-то смутно. Найдя у себя на висках три седых волоса, она стала говорить о старости.

У нее часто бывали приступы удушья. Однажды даже случилось кровохарканье, и когда Шарль засуетился и не мог скрыть беспокойства, она сказала ему:

– Ах, не все ли равно?

Шарль забился в кабинет; там, сидя в своем рабочем кресле под френологической головой, опершись локтями на стол, он расплакался.

Тогда он выписал мать и подолгу советовался с ней насчет Эммы. Как быть? Что делать, если она отказывается от всякого лечения?

– Знаешь, что было бы нужно твоей жене? – повторяла г-жа Бовари-мать. – Заняться делом, ручным трудом. Если бы ей, как другим, приходилось зарабатывать хлеб, у нее не было бы таких причуд. Все это оттого, что она забивает себе голову пустыми бреднями, и от безделья.

– Но ведь она занимается, – говорил Шарль.

– Ах, занимается! А чем? Романами и мерзкими книгами, сочинениями против религии, где, по Вольтеру, издеваются над священниками. Но это все еще только цветочки, бедный мой мальчик! Кто не верит в бога, тот хорошо не кончит.

И вот было решено не давать больше Эмме читать романы. Такая попытка казалась далеко не легкой. Но старушка все же бралась за нее: она хотела проездом через Руан самостоятельно зайти к хозяину читальни и сказать ему, что Эмма отказывается от абонементов. А если библиотекарь, отравитель умов, все-таки будет упорствовать, то разве нельзя обратиться прямо в полицию?

Свекровь и невестка попрощались сухо. Если не считать обычных приветствий да вопросов при встречах за столом и перед сном, то за те три недели, что они прожили вместе, между ними не было сказано и двух слов.

Г-жа Бовари-мать уехала в среду, то есть в ионвильский базарный день.

С самого утра площадь была запружена крестьянскими одноколками, стоящими в ряд; опрокинутые на задок, оглоблями вверх, они выстроились вдоль домов от церкви до самого постоянного двора. По другую сторону стояли парусиновые палатки, где торговали бумажными материями, одеялами, шерстяными чулками, недоузками, синими лентами в пучках, разлетавшимися концами по ветру. Между пирамидами яиц и корзинами сыров, откуда торчала липкая солома, на земле свален был скобяной товар; рядом с сельскохозяйственными машинами кудачтали куры, высовывая головы из плоских клеток. Толпа народа теснилась к одному

месту, ни за что не сходила с него, то и дело грозила продавить витрину аптеки. По средам возле нее всегда была давка: люди проталкивались туда не столько за лекарствами, сколько за медицинскими советами, – так велика была в окрестных селах слава господина Омэ. Его полнокровный апломб ослеплял деревенских жителей. Для них он был самым лучшим врачом из всех врачей.

Эмма сидела облокотившись у окна (она часто делала это: в провинции окно заменяет театр и прогулки) и от скуки глядела на толпу мужичья, как вдруг заметила господина в зеленом бархатном сюртуке. Он был в желтых перчатках, хотя на ногах носил грубые краги; и направлялся он к докторскому дому, а следом за ним, задумчиво понуриив голову, шел какой-то крестьянин.

– Барин дома? – спросил господин у Жюстена, который болтал на пороге с Фелиситэ.

Он принял мальчика за слугу доктора.

– Доложите: господин Родольф Буланже де Ла-Юшетт.

Если посетитель прибавил к своей фамилии название поместья, то сделал он это не из тщеславия, а для того, чтобы дать о себе должное понятие. В самом деле, Ла-Юшетт – это было имение близ Ионвиля, в котором он купил барский дом и две фермы; управлял он ими сам, но в средствах не слишком стеснялся. Он жил холостяком; считалось, что у него *по меньшей мере пятнадцать тысяч ренты!*

Шарль вышел в залу. Г-н Буланже указал ему на своего конюха: парень хотел, чтобы ему пустили кровь, так как у него *по всему телу мурашки бегают*.

– Мне станет легче, – отвечал он на все резоны.

Итак, Бовари велел принести бинт и попросил Жюстена подержать таз. Затем он сказал уже побледневшему крестьянину:

– Ну, не бойся, молодец.

– Нет, нет, – отвечал тот, – валяйте!

И, храбрысь, протянул свою здоровенную руку. Струя крови забила из-под ланцета, разбрызгиваясь о стекло.

– Ближе таз! – крикнул Шарль.

– Глянь-ка, – говорил парень, – так и хлещет! Какая красная кровь! Ведь это добрый знак?

– Некоторые, – заговорил лекарь, – сначала ничего не чувствуют, а потом вдруг падают в обморок. Особенно часто это бывает с крепкими и здоровыми людьми, как вот этот.

Тут малый уронил футляр от ланцета, который вертел в руке, плечи его так передернулись, что крикнула спинка стула. Шапка упала на пол.

– Так я и знал, – сказал Бовари, прижимая вену пальцем.

Таз задрожал в руках Жюстена, колени его подкосились, он побледнел.

– Жена, жена! – стал звать Шарль.

Эмма бегом спустилась по лестнице.

– Уксусу! – кричал муж. – Ах, боже мой, оба сразу!

Он был так взволнован, что еле мог наложить повязку.

– Пустяки! – совершенно спокойно сказал г-н Буланже, подхватив Жюстена.

Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене.

Г-жа Бовари принялась снимать с Жюстена галстук. Шнурки рубашки были завязаны на шее узлом, и тонкие пальцы Эммы несколько секунд распутывали его; потом она смочила свой батистовый платок уксусом и стала осторожными прикосновениями тереть мальчику виски, легонько дуя на них.

Конюх пришел в себя; но у Жюстена обморок все длился, и зрачки его утопали в мутных белках, как голубые цветы в молоке.

– Надо бы, – сказал Шарль, – спрятать это от него.

Г-жа Бовари взяла таз. Когда она наклонилась, чтобы поставить его под стол, платье ее (желтое летнее платье с четырьмя воланами, длинным лифом и широкой юбкой) округлилось колоколом на паркете; нагнувшись, расставив руки, она немного покачивалась, и пышные складки материи колебались вправо и влево вслед за движениями стана. Потом Эмма взяла графин воды и бросила туда несколько кусков сахара. Но тут явился аптекарь: в суматохе служанка успела сбегать за ним. Увидев, что глаза ученика открыты, он перевел дух. И стал вертеться вокруг Жюстена, оглядывая его с ног до головы.

– Дурак! – говорил он. – В самом деле дурак! Круглый дурак! Великое ли в конце концов дело – флеботомия! А еще такой бесстрашный малый! Ведь это настоящая белка, ведь за орехами он не боится лазать на головокружительную высоту. Ну, говори же, похвались! Вот они, твои прекрасные планы, – ты ведь хочешь позже заняться фармацией! А между тем тебя могут в тяжелейших обстоятельствах вызвать в трибунал, чтобы ты просветил сознание судей: и тогда тебе надо будет сохранять хладнокровие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, а не то прослывешь болваном!

Жюстен не отвечал ни слова.

– Кто тебя сюда звал? – продолжал аптекарь. – Ты вечно надоедаешь господам Бовари! К тому же по средам твое присутствие мне особенно необходимо. Сейчас у нас в доме не меньше двадцати человек чужих. Из сочувствия к тебе я все бросил. Ну, иди! Беги! Жди меня и поглядывай за склянками.

Когда Жюстен привел в порядок свой туалет и ушел, оставшиеся заговорили об обмороках. У г-жи Бовари их никогда не бывало.

– Для дамы это необычайно! – сказал г-н Буланже. – Встречаются, знаете ли, чрезвычайно слабые люди. Однажды на дуэли мне пришлось видеть секунданта, который потерял сознание, как только стали заряжать пистолеты.

– А меня, – сказал аптекарь, – вид чужой крови нисколько не волнует; но стоит мне только вообразить, что кровь течет у меня самого, да подольше задержаться на этой мысли, я могу упасть без чувств.

Между тем г-н Буланже отпустил своего работника и велел ему успокоиться, раз уж теперь прошла его блажь.

– Эта блажь доставила мне удовольствие познакомиться с вами, – добавил он.

И при этом взглянул на Эмму.

Затем он положил на угол стола три франка, небрежно поклонился и вышел.

Скоро он уже был за рекой (там шла дорога в Ла-Юшетт), и Эмма видела, как он шагал по лугу под тополями, время от времени замедляя шаг и словно задумываясь.

– Очень мила! – говорил он сам с собой. – Очень мила эта докторша! Прелестные зубы, черные глаза, кокетливая ножка, и манеры, как у парижанки. Откуда, черт возьми, она взялась? Где ее откопал этот пентюх?

Г-ну Родольфу Буланже было тридцать четыре года; человек грубого, животного темперамента и сметливого ума, он имел много любовных приключений и отлично разбирался в женщинах. Г-жа Бовари показалась ему хорошенькой, – и вот он думал о ней и о ее муже.

«По-моему, он очень глуп... И, конечно, надоед ей. Ногти у него грязные, три дня сряду не брит. Пока он разъезжает по больным, она сидит и штопает ему носки. И нам скучно! Нам хотелось бы жить в городе, танцевать по вечерам польку! Бедная девочка! Она задыхается без любви, как рыба на кухонном столе – без воды. Два-три комплимента, – и будьте уверены, она вас станет обожать! А как будет нежна! Прелесть!.. Да, но как потом от нее отделаться?»

Видя в перспективе множество наслаждений, он по контрасту вспомнил свою любовницу. То была руанская актриса, она находилась у него на содержании. Остановившись мыслью на образе этой женщины и чувствуя пресыщение ею даже при воспоминании, он подумал:

«Нет, госпожа Бовари гораздо красивее и, главное, свежее. Виржини положительно начинает толстеть. Как она противна со своими восторгами! И потом, что у нее за страсть к криветкам?»

Кругом лежали пустынные луга, и Родольф слышал только мерное шуршание своих башмаков по траве да стрекот сверчков в овсе; он вновь видел перед собой Эмму в зале, в том самом платье, и мысленно раздевал ее.

– О, она будет моей! – воскликнул он, разбивая палкой засохший комок земли.

И тут же стал обдумывать дипломатическую сторону предприятия.

«Где с ней встречаться? Каким образом? – раздумывал он. – Вечно за спиной будет торчать ребенок, а тут еще служанка, соседи, муж, – ужасно много возни».

– Ах, – произнес он вслух, – сколько это потребует времени!

Но тут снова началось:

«Глаза ее вонзаются тебе в самое сердце, как два буравчика. А какая бледность!.. Обожаю бледных женщин!»

На вершине Аргейльского холма он окончательно принял решение.

«Надо только найти случай. Что ж, буду заходить, пришлю им дичи, птицы; если понадобится, пушу себе кровь; мы подружмся, приглашу их к себе...»

– Ах, черт побери! – воскликнул он. – Ведь скоро съезд. Она там будет, я ее увижу. Вот и начнем, да посмелее – это самое верное.

VIII

Он наступил, наконец, этот долгожданный Земледельческий съезд! В день торжества все обыватели с самого утра болтали у своих домов о приготовлениях. Фронтон мэрии был увит гирляндами плюща; на лугу поставили парусиновый навес для торжественного обеда, а посредине площади, перед церковью, – нечто вроде бомбарды для салютов при въезде господина префекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. К пожарной дружине, где капитаном состоял Бине, присоединился отряд национальной гвардии из Бюши (в Ионвиле ее не было). В этот день у сборщика налогов воротник торчал еще выше обычного. Он был так затянут в военный мундир, корпус его был так напряженно неподвижен, что казалось, будто вся его жизненная энергия перешла в ноги, которые, не сгибаясь, ритмично печатали шаг. Так как между Бине и полковником шло постоянное соперничество, то оба, желая блеснуть своими талантами, по отдельности заставляли маршировать свои команды. Красные погоны и черные нагрудники сменяли друг друга на площади. Это тянулось бесконечно! Никогда не видал Ионвиль подобного парада! Многие обыватели еще накануне вымыли стены своих домов; из приоткрытых окон свисали трехцветные флаги; все кабаки были переполнены; стояла прекрасная погода, и накрахмаленные чепцы казались белее снега, золотые крестики сверкали на солнце, цветные косынки подчеркивали разбросанной своей пестротой однообразный темный фон сюртуков и синих блуз. Вылезая из повозок, окрестные фермерши спешили оправить платье, отколоть длинные булавки, стягивавшие вокруг бедер подобранные от грязи юбки; мужья их, наоборот, берегли шляпы и для того дорогой накрывали их носовым платком, который придерживали зубами за уголок.

На главную улицу с обоих концов городка стекался народ. Он выливался из переулков, с тропинок, из домов; время от времени слышен был стук дверного молотка: это выходила поглядеть на празднество какая-нибудь горожанка в нитяных перчатках. Наибольший интерес возбуждали две покрытые плоскими треугольными рамы, которые стояли по бокам эстрады, приготовленной для властей; кроме того, напротив четырех колонн мэрии поднимались четыре шеста с зеленоватыми полотняными флажками, на которых красовались золотые надписи. На

одном зрители читали: «Торговля», на другом – «Земледелие», на третьем – «Промышленность», на четвертом – «Изящные искусства».

Но ликование, игравшее на всех лицах, по-видимому, крайне огорчало трактирщицу, г-жу Лефрансуа. Стоя на кухонном крылечке, она бормотала себе под нос:

– Какая нелепость! Какая нелепость этот их парусиновый барак! Неужели они думают, что префекту будет приятно обедать в балагане, словно паяцу? И это безобразие у них называется – думать о благе страны! Тогда незачем было вызывать поваришку из Нефшателя! Для кого, спрашивается? Для свинопасов, для голытьбы!..

Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом и – ради такого торжественного случая – шапокляк.

– Ваш покорнейший слуга! – сказал он. – Простите, я тороплюсь.

Вдова спросила его, куда он идет.

– Вам это, конечно, кажется странным? Ведь я постоянно сижу в своей лаборатории, словно крыса в сыре.

– В каком сыре? – спросила трактирщица.

– Ни в каком, ни в каком! – отвечал Омэ. – Я, госпожа Лефрансуа, просто хотел дать вам понять, что обычно безвыходно сижу дома. Однако сегодня, принимая во внимание обстоятельства, мне необходимо...

– Ах, вы идете туда? – презрительно сказала вдова.

– Да, иду, – удивленно отозвался аптекарь. – Разве вам неизвестно, что я член совещательной комиссии?

Тетушка Лефрансуа поглядела на него и, наконец, с улыбкой ответила:

– Ну, это другое дело! Но что вам до земледелия? Разве вы в нем что-нибудь понимаете?

– Разумеется, понимаю. Ведь я фармацевт, следовательно – химик! А так как химия, госпожа Лефрансуа, имеет своим предметом познание взаимного и молекулярного действия всех природных тел, то ясно, что ее областью охватывается все сельское хозяйство! Ибо, в самом деле, что же такое состав удобрений, ферментация жидкостей, анализ газов и влияние миазмов, – что все это такое, спрашиваю я вас, как не чистейшая химия?

Трактирщица молчала.

– Не думаете ли вы, – продолжал Омэ, – что быть агрономом может только тот, кто сам пашет землю или откармливает живность? Тут гораздо важнее знать составы соответствующих веществ, геологические наслоения, атмосферические явления, свойства почв, минералов и вод, консистенцию и капиллярность различных тел! Да мало ли! Чтобы управлять хозяйством, надо основательно овладеть всеми принципами гигиены, уметь критически обсуждать конструкцию строений, режим животных, питание работников! Кроме того, госпожа Лефрансуа, нужно знать ботанику; уметь, понимаете ли вы, различать растения, видеть, какие из них целебны и какие вредоносны, какие бесполезны и какие питательны, не следует ли убирать их отсюда и перемещать в другое место, распространять одни и истреблять другие; словом, чтобы указывать на возможные улучшения, необходимо быть в курсе науки, читать все брошюры и периодические издания, всегда быть на уровне последних успехов...

Трактирщица не отводила взгляда от дверей кафе «Франция», а аптекарь продолжал:

– Дай бог, чтобы наши сельские хозяева стали химиками или по крайней мере больше прислушивались к советам науки! Так, например, я недавно закончил одну довольно солидную работу – сочинение на семидесяти двух страницах с лишком, озаглавленное «О сидре, его производстве и действии, с некоторыми новыми рассуждениями по этому предмету», – и отослал ее в Руанское агрономическое общество, за что и имел честь быть принятым в его члены по секции земледелия, разряд помологии; так вот, если бы мой труд был предан гласности...

Но тут волнение г-жи Лефрансуа достигло таких размеров, что фармацевт остановился.

– Да поглядите же! – сказала она. – Ничего не понимаю! Ведь этакая харчевня!

И, пожимая плечами так, что петли вязаной кофты растянулись у нее на груди, она обеими руками показала на трактир своего соперника, откуда доносились звуки песен.

– Впрочем, это ненадолго, – добавила она. – Не пройдет и недели, как все кончится.

Омэ попятился от изумления. Она сошла с крыльца и зашептала ему на ухо:

– Как, вы еще не знаете? Его на днях опишут. Это все Лере: он просто загонял Телье векселями.

– Какая ужасная катастрофа! – воскликнул аптекарь, у которого всегда были в запасе подходящие выражения на все мыслимые случаи.

Тут хозяйка принялась рассказывать ему всю историю: она знала ее от слуги г-на Гильомена, Теодора, и, несмотря на свою ненависть к Телье, строго осуждала Лере. Такой пролаза, такой надувала!

– Ах, смотрите, – сказала она вдруг, – вот он, стоит под навесом, кланяется госпоже Бовари – на ней зеленая шляпка. А под руку с ней господин Буланже.

– Госпожа Бовари! – воскликнул Омэ. – Спешу предложить ей свои услуги. Быть может, ей будет угодно получить место в ограде, у колонн.

И, не слушая тетушку Лефрансуа, которая звала его обратно, чтобы рассказать все подробности, аптекарь быстрым шагом двинулся вперед с улыбкой на устах, с самым значительным видом, рассыпая направо и налево поклоны и приветствия и занимая очень много места развевающимися позади длинными фалдами черного фрака.

Родольф завидел его издали и прибавил шагу; но г-жа Бовари скоро запыхалась; тогда он пошел медленнее и с грубой прямоотой сказал ей, улыбаясь:

– Я хотел сбежать от этого толстяка, – знаете, от аптекаря.

Она подтолкнула его локтем.

«Что бы это значило?» – подумал он и стал на ходу искоса глядеть на нее.

По ее спокойному профилю ни о чем нельзя было догадаться. Он четко вырисовывался на свету, в овале шляпки с палевыми завязками, похожими на листья камыша. Глаза ее глядели из-под длинных загнутых ресниц прямо вперед и, хотя были широко открыты, казались сощуренными – так прилиwała к тонкой коже щек тихо пульсирующая кровь. Перегородка носа просвечивала розовым. Голова слегка склонялась к плечу, и между губами виднелся перламутровый край белых зубов.

«Уж не смеется ли она надо мной?» – думал Родольф.

Но жест Эммы был просто предупреждением: следом за ними шел г-н Лере. Время от времени он заговаривал, словно пытаясь завязать беседу:

– Какая прекрасная погода! Весь город вышел на улицу! Ни ветерка!

Г-жа Бовари и Родольф не отвечали ему ни слова, а он при малейшем их движении подступал ближе и, поднося руку к шляпе, спрашивал: «Что угодно?»

Добравшись до кузницы, Родольф, вместо того чтобы идти дальше по дороге до заставы, вдруг свернул на тропинку, увлекая за собой г-жу Бовари.

– Всего хорошего, господин Лере! – крикнул он. – До приятного свидания!

– Как вы от него отделались! – со смехом сказала Эмма.

– А зачем позволять, чтобы нам мешали? – возразил он. – Раз уж сегодня я имею счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Он не закончил фразы и заговорил о том, как хороша погода, как приятно ходить по траве. Кругом росли маргаритки.

– Какие прелестные цветы! – сказал Родольф. – Тут хватило бы на гаданье всем влюбленным, какие есть в округе.

И прибавил:

– Не нарвать ли их? Как вы думаете?

– А вы разве влюблены? – спросила Эмма покашливая.

– Э, кто знает? – ответил Родольф.

Луг начинал заполняться народом, хозяйки задевали встречных своими большими зонтиками, своими корзинами и ребятишками. Часто приходилось сходить с дороги и пропускать длинную шеренгу деревенских работниц в синих чулках и плоских башмаках, с серебряными перстнями на пальцах; от работниц пахло молоком. Держась за руки, они двигались вдоль всего луга, от шпалеры осин до навеса, где должен был происходить банкет. Но уже приближался момент осмотра экспонатов, и земледельцы чередой входили в круг вроде ипподрома, опоясанный длинной веревкой на кольях.

Там, повернувшись мордами к барьеру и вытягиваясь ломаным рядом неровных крупов, стоял скот. Дремали, уткнувшись рылом в землю, свиньи, мычали телята, блеяли овцы; коровы, подогнув ноги, лежали животом на траве и, опустив тяжелые веки, медленно пережевывали жвачку; а над ними жужжал рой мух. Конюхи, засучив рукава, держали под уздцы коней, – те становились на дыбы и громко ржали, завидев кобыл. Матки стояли спокойно, вытянув шею с повисшей гривой, а жеребята лежали в их тени или подходили к ним пососать. И над длинной волнистой линией всех этих сгрудившихся тел кое-где развевалась по ветру какая-нибудь белая грива, возвышались острые рога, мелькали головы бегущих людей. В стороне, шагах в ста от огороженного места, стоял огромный черный бык в наморднике, с железным кольцом в ноздрях; он был неподвижен, словно бронзовый. Мальчик в лохмотьях держал его на веревке.

А тем временем между двумя рядами животных проходила тяжелым шагом группа господ. Они осматривали каждый экспонат и потом тихо совещались. Один из них, по виду самый важный, делал на ходу какие-то заметки в книжке. То был председатель жюри, г-н Дерозерэ из Панвиля. Узнав Родольфа, он тотчас подошел к нему и с любезной улыбкой сказал:

– Как, господин Буланже, вы нас покинули?

Родольф ответил, что сейчас придет. Но как только председатель скрылся, он заметил Эмме:

– Честное слово, я останусь с вами: ваше общество гораздо приятнее.

И, продолжая смеяться над съездом, он показал жандарму свой синий пригласительный билет, чтобы свободнее передвигаться. Время от времени он останавливался перед каким-нибудь выдающимся *экземпляром*, но г-жа Бовари не хотела глядеть. Заметив это, он принялся вышучивать наряды ионвильских дам; потом извинился за небрежность своего собственного туалета. В его костюме господствовала та смесь вульгарности и изысканности, которая, как думают банальные люди, обычно указывает на эксцентричность всего поведения, на беспорядочность чувств, на тираническую власть искусства и главное – на известное презрение к общественным условностям; все это одних соблазняет, других приводит в бешенство. Таким образом, в вырезе жилета из серого тика у Родольфа топорщилась на ветру батистовая сорочка с плиссированными манжетами, а панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, открывая лаковые ботинки с нанковым верхом. Лак был такой блестящий, что в нем отражалась трава. Заложив руку в карман пиджака и сбив набок свою соломенную шляпу, Родольф расшвыривал носками ботинок конский навоз.

– Впрочем, – прибавил он, – раз живешь в деревне...

– Все пропадает, – сказала Эмма.

– Вот именно! – поддержал Родольф. – Подумать только, что ни один из этих милейших людей даже не способен оценить построй фрак!

И оба заговорили о провинциальной посредственности, о том, как она душит жизнь, губит иллюзии.

– И вот, – говорил Родольф, – я погружаюсь в печаль...

– Вы? – изумленно произнесла Эмма. – А я думала, что вы такой веселый!

– Да, с виду! Я просто умею на людях скрывать лицо под смеющейся маской; а между тем сколько раз я, глядя на кладбище при лунном свете, спрашивал себя, не лучше ли было бы соединиться с теми, кто спит в могилах...

– О! А ваши друзья? – спросила г-жа Бовари. – О них вы и не подумали.

– Мои друзья? Где они у меня? Кто обо мне беспокоится?

И с этими словами он слегка присвистнул.

Но тут им пришлось разойтись, чтобы дать дорогу огромному сооружению из стульев, которое нес позади какой-то человек. Он был так нагружен, что из-под его ноши виднелись только носки деревянных башмаков да пальцы расставленных рук. Это могильщик Лестибудуа тащил в толпу церковные стулья. Обладая огромной изобретательностью во всем, что касалось выгоды, он нашел способ извлечь доход и из съезда; идея его увенчалась полным успехом: он не знал, кому и отвечать, так его затормошили. В самом деле, всем было жарко, и сельские жители вырывали друг у друга эти стулья с пропахшими ладаном соломенными сиденьями; откидываясь на закапанные воском крепкие спинки, они испытывали некоторый священный трепет.

Г-жа Бовари снова оперлась на руку Родольфа, и он продолжал как бы про себя:

– Да, мне очень многого не хватает! Вечно один!.. Ах, если бы я имел в жизни цель, если бы я встретил настоящую привязанность, если бы мне удалось найти кого-нибудь... О, с какой радостью я расточил бы всю энергию, на какую только способен! Я бы все преодолел, все сломил!

– А мне все-таки кажется, – сказала Эмма, – что вас совсем не приходится жалеть.

– Да? Вы находите? – произнес Родольф.

– Ведь в конце концов... – снова заговорила она, – вы свободны...

Она поколебалась.

– Богаты...

– Не смейтесь надо мной, – был ответ.

Эмма клялась, что она не смеется, но тут вдруг грянула пушка, и тотчас все, толкаясь, вперемешку бросились к деревне.

То была ложная тревога. Господин префект все не приезжал, и члены жюри находились в большом смущении: они не знали, начинать заседание или еще подождать.

Наконец на краю площади показалось большое наемное ландо, запряженное двумя клячами; кучер в белой шапке нахлестывал их изо всей силы. Бине и вслед за ним полковник еле успели скомандовать: «В ружье!» Побежали к козлам. Заторопились. Некоторые даже забыли надеть воротники. Но начальственный выезд, казалось, догадался об этом переполохе, и пара кобыл, раскачиваясь в оглоблях, подбежала мелкой рысью к подъезду мэрии как раз в тот момент, когда отряд национальной гвардии и пожарная дружина, отбивая шаг под барабанный бой, уже развертывались фронтом...

– На месте! – крикнул Бине.

– Стой! – крикнул полковник. – Равнение налево!

Взяли на караул, бряцанье ружей прокатилось по всему строю, словно скачущий вниз по лестнице котелок, и приклады вновь ударились о землю.

Тогда с экипажа сошел господин в коротком фраке с серебряным шитьем, лысый, с пучком волос на затылке, мучнисто-бледный и чрезвычайно на вид благодушный. Присматриваясь к собравшимся, он щурил свои большие глаза под тяжелыми веками, а между тем вздернутый носик его поднимался кверху, и впалый рот складывался в улыбку. Он узнал мэра по шарфу и сообщил ему, что господин префект никак не мог приехать. Затем он представился: советник префектуры; наконец прибавил несколько извинений. Тюваш ответил надлежащими приветствиями, гость признался, что чувствует себя смущенным; так стояли они лицом к лицу, почти касаясь друг друга лбами, а кругом теснились члены жюри, муниципальный совет, именитые

граждане, национальная гвардия и вся толпа. Прижимая к груди маленькую черную треуголку, господин советник возобновил свои любезности, а Тюваш, согнувшись в дугу, в свою очередь улыбался, не находил слов, запинаясь, уверял в своей преданности монархии, благодарил за честь, оказанную Ионвилю.

Трактирный конюх Ипполит взял лошадей под уздцы и, хромя на кривую ногу, отвел их под навес к «Золотому льву», где уже скопилось поглядеть на коляску немало крестьян. Забил барабан, грянула пушка, именитые гости гуськом взошли на эстраду, где и уселись в любезно предоставленные г-жой Тюваш кресла, крытые красным трипом.

Все эти люди походили друг на друга. Бледные, дряблые, слегка загорелые от солнца лица напоминали цветом сидр, густые бакенбарды выступали из высоких тугих воротничков, сдерживаемых тщательно завязанными широкими бантами белых галстуков. У всех жилеты были бархатные, шалевые; у всех при часах была лента с овальной сердоликовой печаткой; все, сидя, опирались обеими руками на колени и старательно раздвигали ноги, на которых неадекватное сукно панталон блестело ярче, чем кожа на ботфортах.

Позади, в подъезде у колонн, расположились дамы из общества, тогда как простолюдины сидели или толпились против эстрады. Лестибудуа успел перетащить сюда с луга весь запас стульев и, не довольствуясь этим, поминутно бегал в церковь за новыми; своей коммерческой деятельностью он производил такой беспорядок, что добраться до ступенек эстрады было нелегко.

– Я нахожу, – сказал г-н Лере, обращаясь к аптекарю, проходившему на предоставленное ему место, – что следовало бы поставить две венецианских мачты; если бы украсить их какими-нибудь строгими, но богатыми материями, то это было бы очень красивое зрелище.

– Конечно, – отвечал Омэ. – Но что прикажете! Ведь всем распоряжался мэр, а у этого бедняги Тюваша не слишком тонкий вкус; по-моему, он даже совершенно лишен того, что называется художественным чутьем.

Между тем Родольф поднялся с г-жой Бовари на второй этаж мэрии, в зал заседаний, и так как там было пусто, то он заявил, что отсюда будет очень хорошо и удобно смотреть. Он взял три табурета, стоявшие у овального стола, под бюстом монарха, поднес их к окошку, и они сели рядом.

На эстраде передвигались, подолгу шептались, переговаривались. Наконец господин советник встал. Теперь уже была известна и переходила из уст в уста его фамилия – Льевен. И вот, разобравшись в своих листках и пристально вглядываясь в них, он начал:

– «Милостивые государи!

Да будет мне позволено для начала (то есть прежде чем говорить с вами о предмете сегодняшнего нашего собрания, и я уверен, что все вы разделяете мои чувства), да будет мне позволено, говорю я, сначала воздать должное верховной власти, правительству, монарху, нашему государю, господа, возлюбленному королю, которому не чужда ни одна область общественного или частного блага и который рукой одновременно твердой и мудрой ведет ладью государства среди всех бесчисленных опасностей бурного моря, умея уделять должное внимание миру и войне, торговле и промышленности, земледелию и изящным искусствам».

– Мне бы следовало, – сказал Родольф, – немного отодвинуться назад.

– Зачем? – спросила Эмма.

Но в этот момент голос советника зазвучал необычайно громко.

– «Прошли те времена, милостивые государи, – декламировал он, – когда гражданские раздоры обгаляли кровью площади наших городов, когда собственник, негоциант и даже рабочий, засыпая ввечеру мирным сном, трепетал при мысли, что проснется под звон набата смутянов, когда разрушительнейшие мнения дерзко подрывали основы...»

– Меня могут заметить снизу, – отвечал Родольф, – и тогда надо будет целых две недели извиняться, а при моей скверной репутации...

– О, вы клевете на себя, – перебила Эмма.

– Нет, нет, клянусь вам, у меня ужасная репутация.

– «Но, милостивые государи, – продолжал советник, – если, отвратившись памятью от этих мрачных картин, я кину взгляд на современное состояние прекрасной нашей родины, – что я увижу? Повсюду процветают торговля и ремесла; повсюду новые пути сообщения, пронизывая, подобно новым артериям, тело государства, устанавливают новые связи; возобновили свою деятельность наши крупные промышленные центры; утвердившаяся религия улыбается всем сердцам; порты наши полны кораблей, возрождается доверие, и наконец-то Франция дышит свободно!»

– Впрочем, – прибавил Родольф, – быть может, с точки зрения света, люди и правы.

– Как это? – произнесла Эмма.

– Ах, – сказал он, – разве вы не знаете, что есть души, постоянно подверженные мукам? Им необходимы то мечты, то действия, то самые чистые страсти, то самые яростные наслаждения, – и вот человек отдается всевозможным прихотям и безумствам.

Тогда Эмма взглянула на него, как на путешественника, побывавшего в экзотических странах, и заговорила:

– Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения!

– Жалкое развлечение! В нем не находишь счастья...

– А разве оно вообще бывает? – спросила Эмма.

– Да, однажды оно встречается, – был ответ.

– «И вы поняли это, – говорил советник, – вы, земледельцы и сельские рабочие; вы, мирные пионеры цивилизации; вы, поборники прогресса и нравственности! Вы поняли, говорю я, что политические бури поистине еще губительнее, чем атмосферические волнения...»

– И однажды оно встречается, – повторил Родольф, – однажды, вдруг, когда все надежды на него потеряны. Тогда открывается горизонт, и словно слышишь голос: «Вот оно!» И чувствуешь потребность доверить этому человеку всю свою жизнь, все отдать, всем пожертвовать! Не надо никаких объяснений – всё и так понятно. Двое людей уже раньше видели друг друга в мечтах. (И он глядел на нее.) Вот оно, наконец, это сокровище, которое вы так долго искали! Вот оно – перед вами, оно блестит, оно сверкает! Но все-таки еще сомневаешься, еще не смеешь верить, еще стоишь ослепленный, словно выйдя из мрака на свет.

Произнеся эти слова, Родольф довершил их пантомимой. Он взял за лоб, словно у него закружилась голова, потом уронил руку на пальцы Эммы. Она отняла их. А советник все читал:

– «И кто же, милостивые государи, мог бы этому удивляться? Только тот, кто до такой степени ослеплен, до такой степени погряз, – я не боюсь употребить это выражение, – до такой степени погряз в предрассудках прошлых веков, что все еще не знает духа земледельческого населения. Где, в самом деле, найдем мы больше патриотизма, больше преданности общественному делу – словом, больше разума, нежели в деревнях и селах. Я имею в виду, милостивые государи, не поверхностный разум, не суетное украшение праздных умов, но тот глубокий и умеренный разум, который прежде и превыше всего умеет преследовать цели полезные, содействуя тем самым выгоде каждого частного лица, а следовательно, и общему благосостоянию и

прочности государства, которые являются плодом уважения к законам и строгого выполнения долга...»

– Ах, опять, опять! – заговорил Родольф, – вечно долг и долг... Меня просто замучила эта болтовня. Их целая куча – этих старых олухов в фланелевых жилетах и святош с грелками и четками, – они постоянно напевают нам в уши: «Долг! Долг!» Ах, клянусь небом! Настоящий долг – это чувствовать великое, обожать прекрасное, а вовсе не покоряться общественным условностям со всей их мерзостью.

– Но ведь... но... – возражала г-жа Бовари.

– Да нет же! К чему все эти тирады против страстей? Разве страсти – не единственная прекрасная вещь на земле, не источник героизма, энтузиазма, поэзии, музыки, искусства – всего?

– Но надо же, – сказала Эмма, – хоть немного считаться с мнением света, повиноваться его морали.

– В мире есть две морали, – ответил Родольф. – Есть мораль мелкая, условная, человеческая, – та, которая постоянно меняется, громко твякает, пресмыкается в прахе, как вот это собрание дураков, что у вас перед глазами. Но есть и другая мораль – вечная; она разлита вокруг нас и над нами, как окружающий нас пейзаж, как освещающее нас голубое небо.

Г-н Льевен вытер губы носовым платком и заговорил вновь:

– «Как стал бы я, милостивые государи, доказывать вам пользу земледелия? Кто же удовлетворяет все наши потребности? Кто снабжает нас всем необходимым для существования? Разве не земледelec? Да, милостивые государи, земледelec! Это он, засевая трудолюбивою рукою плодородные борозды полей, выращивает зерно, которое, будучи размельчено и превращено в порошок остроумными механизмами, выходит из них под названием муки, а затем транспортируется в города и вскоре поступает к булочнику; этот же последний изготoвляет из него пищу, подкрепляющую как бедняков, так и богачей. Не земледelec ли, далее, выкармливает в лугах многочисленные стада, дающие нам одежду? Ибо во что стали бы мы одеваться, ибо чем стали бы мы питаться, если бы не земледelec? Да надо ли нам, милостивые государи, далеко ходить за примерами? Кому из нас не приходилось неоднократно размышлять о великом значении того скромного существа, того украшения наших птичников, которое одновременно дает и пуховые подушки для нашего ложа, и сочное мясо для нашего стола, и яйца! Но если бы я стал перечислять по одному все те многообразные продукты, которые, словно щедрая мать, оделяющая своих детей, расточает нам заботливо обработанная земля, то я бы никогда не кончил. Вот здесь виноград; в другом месте – яблоки, дающие сидр; там – рапс; далее – сыр. А лен? Не забудем, милостивые государи, лен! Ибо в последние годы потребление его значительно возрастает, и я еще призову к нему особенное ваше внимание».

Но призывать внимание не было необходимости: в толпе все и без того разинули рты, словно впивая в себя слова советника. Тюваш, стоя с ним рядом, слушал, вытаращив глаза; г-н Дерозерэ время от времени тихонько смежал веки; а дальше, держа между колен своего сына Наполеона, сидел аптекарь и, чтобы не пропустить ни слова, приставил к уху ладонь и ни на секунду не опускал ее. Прочие члены жюри медленно погружали подбородки в вырез жилета, тем самым выражая свое одобрение. Около эстрады отдыхали, опершись на штыки, пожарные; Бине стоял навывтяжку и, отставив локоть, держал саблю на караул. Возможно, что он и слушал, но во всяком случае ничего не мог видеть, ибо козырек каски сполз ему на самый нос. У его лейтенанта, младшего сына Тюваша, каска была еще больше; непомерно огромная, она шаталась у него на голове, и из-под нее торчал кончик ситцевого платка. Молодой человек

тихо, по-детски улыбался из-под козырька, и пот струился по его бледному личику, выражавшему наслаждение, усталость и сонливость.

Площадь и даже дома на ней были переполнены народом. Люди глядели из всех окон, стояли во всех дверях, а Жюстен так и застыл у аптечной витрины, увлекшись необычным зрелищем. Несмотря на тишину, голос г-на Льевена терялся в воздухе. Долетали только обрывки фраз, то и дело прерываемые стуком и скрипом стульев в толпе; потом позади вдруг раздавалось долгое мычание быка или блеяние ягнят, перекликавшихся по углам улиц. В самом деле, пастухи подогнали скотину поближе, и животные время от времени мычали, не переставая слизывать языком приставшие к морде травинки.

Родольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал:

– Неужели вас не возмущает этот всеобщий заговор? Есть ли хоть одно чувство, которое бы они не осуждали? Благороднейшие инстинкты, чистейшие симпатии они преследуют, марают клеветой. И если двум несчастным душам удастся, наконец, встретиться, все устроено так, чтобы они не могли слиться. Но они будут стремиться, будут напрягать свои крылья, будут звать друг друга. Напрасны все препятствия! Рано или поздно, через полгода или через десять лет, но любовь соединит их, ибо этого требует рок, ибо они созданы друг для друга.

Он сидел, сложив руки на коленях, и, подняв лицо к Эмме, смотрел на нее близко и пристально. Она разглядела в его глазах тоненькие золотые нити, лучившиеся вокруг черных зрачков, она даже слышала запах помады от его волос. И томность охватила ее, она вспомнила виконта, с которым танцевала вальс в Вобьессаре, – от его бороды струился тот же запах ванили и лимона; чтобы лучше обонять, она машинально прикрыла веками глаза. Но вот она выпрямилась на стуле и увидела вдаль, на горизонте, старый дилижанс, – «Ласточка» медленно спускалась по откосу холма Ле, волоча за собою длинный султан пыли. В этой желтой карете так часто возвращался к ней Леон; по этой дороге он уехал навсегда! Ей почудилось его лицо в окне; потом все смешалось, прошли облака; ей казалось, что она все еще кружится в вальсе, при блеске люстр, в объятиях виконта, что Леон недалеко, что он сейчас придет... А между тем все время она чувствовала рядом голову Родольфа. Сладость этого ощущения насквозь пропитала собою ее давнишние желания, и, подобно песчинкам в порыве ветра, они вились смерчем в струях тонкого благоухания, обволакивавшего душу. Эмма несколько раз широко раздувала ноздри, вдыхая свежий запах плюща, увивавшего карнизы. Она сняла перчатки, вытерла руки, потом стала обмахивать лицо платком, и сквозь биение крови в висках ей слышался ропот толпы и голос советника, все еще гнусавившего свои фразы.

Он говорил:

– «Продолжайте! Будьте тверды! Не внимайте ни нашептываниям рутинеров, ни чрезмерно поспешным советам самонадеянных экспериментаторов! Более всего радейте об улучшении почвы, о надлежащих удобрениях, о разведении племенного скота: лошадей и коров, овец и свиней! Да будут для вас эти съезды как бы мирными аренами, где победитель, покидая состязание, протягивает руку побежденному и братается с ним, подавая ему надежду на будущий успех! А вы, почтенные работники, вы, скромные слуги, чьи тягостные труды еще не пользовались до сего времени вниманием ни одного правительства, – вы получите ныне награду за свои мирные добродетели, и знайте твердо, что отныне государство неослабно следит за вами, что оно подбадривает вас, что оно покровительствует вам, что оно удовлетворит ваши справедливые притязания и, поскольку будет в его силах, облегчит бремя ваших тягостных жертв!»

С этими словами г-н Льевен уселся на место; встал и заговорил г-н Дерозерэ. Речь его была, быть может, и не так цветиста, как речь советника, но зато отличалась более положительным характером стиля – более специальными познаниями и более существенными соображениями. Так, в ней гораздо меньше места занимали похвалы правительству: за их счет уделя-

лось больше внимания земледелию и религии. Оратор указал на их взаимную связь и способы, которыми они совместно служили всегда делу цивилизации. Родольф говорил с г-жой Бовари о снах и предчувствиях, о магнетизме. Восходя мыслью к колыбели человечества, г-н Дерозерэ описывал те дикие времена, когда люди, скрываясь в лесных чащах, питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, облачились в сукно, прорыли борозды, насадили виноградники. Являлось ли это истинным благом, не были ли эти открытия более чреваты несчастьями, нежели выгодами? Такую проблему ставил перед собою г-н Дерозерэ. От магнетизма Родольф понемногу добрался до сродства душ; и, пока господин председатель приводил в пример Цинцинната за плугом, Диоклетиана за посадкой капусты и китайских императоров, празднующих начало года священным посевом, молодой человек объяснял молодой женщине, что всякое неотразимое влечение коренится в событиях какой-то прошлой жизни.

– Вот и мы тоже, – говорил он. – Как узнали мы друг друга? Какая случайность привела к этому?.. Уж конечно, сами наши природные склонности влекли нас, побеждая пространство: так две реки встречаются, стекая каждая по своему склону.

Он схватил Эмму за руку; она ее не отняла.

– «За разведение различных полезных растений...» – кричал председатель.

– Например, в тот час, когда я пришел к вам впервые...

– «...господину Визе из Кенкампуа...»

– знал ли я, что буду сегодня вашим спутником?

– «...семьдесят франков!»

– Сто раз я хотел удалиться, а между тем я последовал за вами, я остался...

– «За удобрение навозом...»

– ...как останусь и сегодня, и завтра, и во все остальные дни, и на всю жизнь!

– «господину Карону из Аргейля – золотая медаль!»

– Ибо никогда, ни в чьем обществе не находил я такого полного очарования...

– «...Господину Бэну из Живри-Сен-Мартен!»

– ...и потому я унесу с собою воспоминание о вас...

– «За барана-мериноса...»

– Но вы забудете меня, я пройду мимо вас словно тень...

– «Господину Бело из Нотр-Дам...»

– О нет, ведь как-то я останусь в ваших воспоминаниях, в вашей жизни!

– «За свиную породу приз делится ех аегио⁴ между господами Леэриссэ и Кюллембуром. Шестьдесят франков!»

Родольф жал Эмме руку и чувствовал, что ладонь ее горит и трепещет, как пойманная, рвущаяся улететь горлица; но тут – пыталась ли она отнять руку, или хотела ответить на его полотно, – только она шевельнула пальцами.

– О, благодарю вас! – воскликнул он. – Вы не отталкиваете меня! Вы так добры! Вы понимаете, что я весь ваш! Позвольте же мне видеть, позвольте любоваться вами!

Ветер ворвался в окно, и сукно на столе стало топорщиться; а внизу, на площади, у всех крестьянок поднялись, словно белые крылья бабочек, оборки высоких чепцов.

– «За применение жмыхов маслянистых семян...» – продолжал председатель.

Он торопился:

– «За фламандские удобрения... за разведение льна... за осушение почвы при долгосрочной аренде... за верную службу хозяину...»

Родольф молчал. Оба глядели друг на друга. От мощного желания дрожали пересохшие губы; томно, бессильно сплетались пальцы.

– «Катерине-Никезе-Элизабете Леру из Сассето ла Герьер за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной и той же ферме – серебряная медаль ценою в двадцать пять франков!»

– Где же Катерина Леру? – повторил советник. Работница не выходила. В толпе перешептывались:

– Иди же!

– Не туда!

– Налево!

– Не бойся!

– Вот дура!

– Да где она, наконец? – закричал Тюваш.

– Вот!.. Вот она!

– Так пусть же подойдет!

Тогда на эстраду робко вышла крохотная старушка. Казалось, она вся съежилась в своей жалкой одежде. На ногах у нее болтались огромные деревянные башмаки, на бедрах висел длинный синий передник. Худое лицо, обрамленное простым чепцом без отделки, было морщинистее печеного яблока, а рукава красной кофты закрывали длинные руки с узловатыми суставами. Мякина и пыль молотбы, едкая щелочь стирки, жир с овечьей шерсти покрыли эти руки такой корой, так истерли их, так огрубили, что они казались грязными, хотя старуха долго мыла их в чистой воде; натруженные вечной работой пальцы ее все время были слегка раздвинуты, как бы смиренно свидетельствуя обо всех пережитых муках. Выражение лица хранило нечто от монашеской суровости. Бесцветный взгляд не смягчался ни малейшим оттенком грусти или умиления. В постоянном общении с животными старушка переняла их немину и спокойствие. Впервые в жизни пришлось ей попасть в такое многолюдное общество; и, напуганная в глубине души и флагами, и барабанами, и господами в черных фраках, и орденом советника, она стояла неподвижно, не зная, подойти ей или убежать, не понимая, зачем подталкивает ее толпа, улыбаются ей судьи. Так стояло перед цветущими буржуа живое полустолетие рабства.

⁴ Поровну (лат.)

– Подойдите, почтенная Катерина-Никеза-Элизабета Леру! – сказал г-н советник, взяв из рук председателя список награжденных.

И, поглядывая то на эту бумагу, то на старуху, он все повторял отеческим тоном:

– Подойдите, подойдите!

– Да вы глухая, что ли? – сказал Тюваш, подсакивая в своем кресле.

И принялся кричать ей в самое ухо:

– За пятидесятичетырехлетнюю службу! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Вам, вам!

Получив, наконец, свою медаль, старушка стала ее разглядывать. И тогда по лицу ее разлилась блаженная улыбка, и, сходя с эстрады, она прошамкала:

– Отдам ее нашему кюре, пусть служит мне мессы.

– Какой фанатизм! – воскликнул аптекарь, наклоняясь к нотариусу.

Заседание закрылось; толпа рассеялась; все речи были закончены, и каждый снова занял прежнее свое положение; все пошло по-старому: хозяева снова стали ругать работников, а те принялись бить животных – равнодушных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах в свои хлевы.

Между тем национальные гвардейцы, насадив на штыки булки, поднялись во второй этаж мэрии; впереди шел батальонный барабанщик с корзиной вина. Г-жа Бовари взяла Родольфа под руку; он проводил ее домой, они расстались у двери; потом он пошел прогуляться перед банкетом по лугу.

Обед был шумный, плохой и длился долго; пирующие сидели так тесно, что еле могли двигать локтями, а узкие доски, служившие скамьями, чуть не ломались под их тяжестью. Все ели очень много. Каждый старался полностью вознаградить себя за свой взнос. Пот струился у всех по лбу; белесоватый пар, словно осенний утренний туман над рекой, витал над столом среди висячих кинкетов. Родольф прислонился спиной к коленкоровому полотнищу и так напряженно думал об Эмме, что ничего не слышал. Позади него слуги складывали на траве стопками грязные тарелки; соседи заговаривали с ним, – он им не отвечал; ему наливали стакан, но, как ни разрастался кругом него шум, в мыслях его царила тишина. Он вспоминал все, что она говорила, он видел форму ее губ; лицо ее, словно в магическом зеркале, пылало на бляхах киверов; стены палатки ниспадали складками ее платья, а на горизонтах будущего развертывалась бесконечная вереница любовных дней.

Он еще раз увидел ее вечером, во время фейерверка; но она была с мужем, г-жой Омэ и аптекарем, который, ужасно беспокоясь по поводу опасностей, сопряженных с ракетами, поминутно покидал общество и бегал со своими советами к Бине.

Пиротехнические приборы были присланы из города в адрес Тюваши и из вящей предосторожности ждали праздника у него в погребе; так что порох подмок и не загорался, а главный номер – дракон, кусающий себя за хвост, – совершенно не удался. Время от времени вспыхивала какая-нибудь жалкая римская свеча; тогда в глазающей толпе поднимался громкий крик, и тут же взвизгивали женщины, которых кавалеры в темноте тискали за талию. Эмма тихонько прижалась к плечу Шарля и, подняв голову, молча следила за светящимся полетом ракет в черном небе. Родольф любовался ею при свете плошек.

Но плошки мало-помалу погасли. Зажглись звезды. Стал накрапывать дождь. Г-жа Бовари повязала непокрытую голову косынкой.

В этот момент от трактира отъехала коляска советника. Кучер был пьян и сразу заснул, и на козлах виднелась между двумя фонарями бесформенная масса его тела, которая раскачивалась вправо и влево вместе с подпрыгивающим на ремнях кузовом.

– Право, – сказал аптекарь, – давно следовало бы принять суровые меры против пьянства! Я предложил бы еженедельно вывешивать у дверей мэрии таблицу *ad hoc*⁵ с перечнем тех, кто за отчетную неделю отравлял себя алкогольными напитками. Это было бы полезно и в статистическом отношении: тем самым создались бы общедоступные ведомости, которые при надобности можно было бы... Но простите!

И он снова побежал к капитану.

Тот торопился домой, ему не терпелось вновь увидеть свой токарный станок.

– Вы бы не плохо сделали, – сказал ему Омэ, – если бы послали кого-нибудь из ваших людей или даже сходили бы сами...

– Да оставьте вы меня в покое! – ответил сборщик налогов. – Говорят вам, никакой опасности нет.

– Успокойтесь, – сказал аптекарь, вернувшись к своим друзьям. – Господин Бине уверил меня, что все меры приняты. Ни одна искра не упадет на нас. Пожарные насосы полны воды. Идем спать.

– Честное слово, пора! – сказала давно уже зевавшая г-жа Омэ. – Но это ничего: по крайней мере прекрасный был день.

Родольф тихо, с нежным взглядом, повторил:

– О, да! Такой прекрасный!

Все раскланялись и пошли по домам.

Два дня спустя в «Руанском фанаре» появилась большая статья о съезде. Ее написал на другой день после праздника полный вдохновения Омэ:

«Откуда все эти фестоны, цветы, гирлянды? Куда, подобно волнам бушующего моря, стекается эта толпа под потоками лучей знойного солнца, затопившего тропической жарой наши нивы?..»

Дальше говорилось о положении крестьян. Правительство, конечно, делает для них много, но еще недостаточно! «Смелее! – взывал к нему автор. – Необходимы тысячи реформ, осуществим же их!» Переходя затем к приезду советника, он не забыл ни о «воинственном виде нашей милиции», ни о «наших сельских резвушках», ни о подобных патриархам стариках с оголенным черепом; «они были тут же, и иные из них, обломки бессмертных наших фаланг, чувствовали, как еще бьются их сердца при мужественном громе барабана». Перечисляя состав жюри, он одним из первых назвал себя и даже в особом примечании напоминал, что это тот самый г-н фармацевт Омэ, который прислал в Агрономическое общество рассуждение о сидре. Дойдя до распределения наград, он описывал радость лауреатов в тоне дифирамба. «Отец обнимал сына, брат брата, супруг супругу. Каждый с гордостью показывал свою скромную медаль. Вернувшись домой к доброй своей хозяйке, он, конечно, со слезами повесит эту медаль на стене своей смиренной хижины...

Около шести часов все главнейшие участники празднества встретились на банкете, устроенном на пастбище у г-на Льежара. Царила ничем не нарушаемая сердечность. Было провозглашено много здравиц: г-н Льевен – за монарха! Г-н Тюваш – за префекта! Г-н Дерозерэ – за земледелие! Г-н Омэ – за двух близнецов: промышленность и искусство! Г-н Леплише – за мелиорацию! Вечером в воздушных пространствах вдруг засверкал блестящий фейерверк. То был настоящий калейдоскоп, настоящая оперная декорация, и на один момент наш скромный городок мог вообразить себя перенесенным в волшебную грезу из «Тысячи и одной ночи»...

Свидетельствуем, что это семейное торжество не было нарушено ни одним неприятным инцидентом».

И дальше автор добавлял:

⁵ Специальную (*лат.*).

«Замечено только полное отсутствие духовенства. В ризницах прогресс, разумеется, понимают совсем иначе. Дело ваше, господа Лойолы!»

IX

Прошло шесть недель, Родольф не показывался. Наконец однажды вечером он пришел. На следующий день после съезда он решил:

«Не надо являться к ней слишком скоро: это было бы ошибкой».

И в конце недели уехал на охоту. После охоты он подумал, что уже поздно, а потом рас- судил так:

«Ведь если она полюбила меня с первого дня, то теперь, от нетерпения видеть меня снова, непременно полюбит еще больше. Так будем же продолжать!»

И когда он вошел в залу и увидел, как побледнела Эмма, то понял, что расчет его был верен.

Она была одна. День клонился к вечеру. Муслиновые занавески на окнах затеняли суме- речный свет; от позолоты барометра, на который падал солнечный луч, отражались в зеркале, между ветвями полипа, красные огни заката.

Родольф не садился; Эмма еле отвечала на его первые учтивые фразы.

– У меня были дела, – сказал он. – Я болел.

– Опасно? – воскликнула она.

– Нет, – произнес Родольф, сядя рядом с ней на табурет. – Нет... я просто не хотел больше приходить к вам.

– Почему?

– Вы не догадываетесь?

Он еще раз взглянул на нее, и так пристально, что она покраснела и опустила голову.

– Эмма... – снова заговорил он.

– Милостивый государь! – произнесла она, немного отстраняясь.

– Ах... Вот вы и сами видите, – возразил он меланхолическим голосом, – я был прав, когда не хотел больше бывать здесь. Это имя переполняет мою душу, оно само срывается с моих уст, а вы запрещаете мне произносить его! Госпожа Бовари!.. Ах, так называют вас все! Но это имя не ваше! Это имя другого человека!.. Другого! – повторил он и закрыл лицо руками. – Да, я вечно думаю о вас!.. Воспоминание о вас приводит меня в отчаяние! О, простите!.. Я уйду... Прощайте... Я еду далеко... так далеко, что вы больше обо мне не услышите!.. И все же... сегодня... сам не знаю, какая сила повлекла меня к вам! Нельзя бороться против неба, нельзя сопротивляться ангельской улыбке! Нельзя не поддаться тому, что прекрасно, возвышенно, обаятельно!

Впервые в жизни слышала Эмма такие слова: пыл этих речей тешил ее самолюбие, и она, казалось, нежила в теплой ванне.

– Но если я не приходил, – продолжал Родольф, – если я не мог видеть вас, то... Ах, по крайней мере я любовался всем, что вас окружает. По ночам... каждую ночь я вставал, шел сюда, глядел на ваш дом, на блестящую при лунном свете крышу, на колыхавшиеся под вашим окном деревья, на огонек вашего ночника, светившегося во мраке сквозь стекла. Ах, вы и не знали, что вон там, так близко и в то же время так далеко от вас, несчастный страдалец...

Эмма с рыданием повернулась к нему.

– О, как вы добры! – сказала она.

– Нет, я только люблю вас, – вот и все! Вы этого не подозревали! Скажите же мне... Одно слово! Только одно слово!

И Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол; но тут в кухне послышался стук башмаков, и он заметил, что дверь залы не закрыта.

– Какую милость вы оказали бы мне, – продолжал он, поднимаясь, – если бы исполнили одну мою мечту!

То была просьба обойти с ним весь дом. Родольф хотел знать жилище Эммы; г-жа Бовари не нашла в этом ничего неудобного, но, когда оба уже встали с мест, вошел Шарль.

– Здравствуй, доктор, – сказал ему Родольф.

Лекарь был польщен таким неожиданным титулом и рассыпался в любезностях, а гость воспользовался этим, чтобы немного прийти в себя.

– Ваша супруга, – сказал он наконец, – рассказывала мне о своем здоровье...

Шарль не дал ему договорить; он в самом деле ужасно беспокоился: у жены снова начались удушья. Тогда Родольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда.

– Конечно!.. Прекрасно, превосходно! Какая замечательная мысль! Тебе бы надо ею воспользоваться...

И как только Эмма возразила, что у нее нет лошади, г-н Родольф предложил свою; она отказалась, он не настаивал. Потом, желая объяснить свой визит, рассказал, что его конюх, тот самый, которому пускали кровь, все еще жалуется на головокружения.

– Я заеду поглядеть, – сказал Бовари.

– Нет, нет, я пришлю его сюда. Мы приедем вместе, так вам будет удобнее.

– А, отлично. Благодарю вас...

Оставшись наедине с женой, Шарль спросил:

– Почему ты не приняла предложения господина Буланже? Он так любезен.

Эмма надулась, нашла тысячу отговорок и, наконец, заявила, что *это может показаться странным*.

– Вот уж наплевать! – сказал Шарль и сделал пируэт. – Здоровье – прежде всего! Ты совсем не права.

– Да как же ты хочешь, чтобы я ездила верхом, когда у меня нет амазонки?

– Ну, так надо заказать! – ответил муж.

Амазонка решила дело.

Когда костюм был готов, Шарль написал г-ну Буланже, что жена согласна и что они рассчитывают на его любезность.

На другой день, в двенадцать часов, Родольф явился к крыльцу Шарля с двумя верховыми лошадьми. У одной из них были розовые помпоны на ушах и дамское седло оленьей кожи.

Родольф надел мягкие сапожки: он был уверен, что Эмма никогда не видала такой роскоши; и в самом деле, когда он взбежал на площадку в своем бархатном фраке и белых трико-вых рейтузах, Эмма пришла в восторг от его костюма. Она была уже готова и ждала.

Жюстен улизнул из аптеки поглядеть; соблаговолил выйти на улицу и сам Омэ. Он засыпал г-на Буланже советами:

– Долго ли до беды! Берегитесь! Не горячие ли у вас лошади?

Эмма услышала над головой стук: это барабанила по оконному стеклу Фелиситэ, забавляя маленькую Бертю. Девочка послала матери воздушный поцелуй; та сделала ответный знак рукояткой хлыстика.

– Приятной прогулки! – кричал г-н Омэ. – Только осторожней! Осторожней!

И замахал им вслед газетой.

Едва почуяв волю, лошадь Эммы помчалась галопом. Родольф скакал рядом. Время от времени спутники обменивались двумя-тремя словами. Слегка склонившись, высоко держа повод и свободно опустив правую руку, Эмма вся отдавалась ритму движения, качавшего ее в седле.

Доехав до подножия холма, Родольф пустил коня во весь опор; оба бросились вместе вперед; а на вершине лошади вдруг остановились, и длинная синяя вуаль упала Эмме на лицо.

Было начало октября. Над полями стоял туман. На горизонте, между силуэтами холмов, тянулся пар; он рвался, поднимался и, расплываясь, исчезал. И порою между его белыми клубами виднелись на солнце далекие ионвильские крыши, сады на берегу реки, дворы, стены, колокольня. Эмма, шурясь, пыталась узнать свой дом, и никогда еще жалкий городишко, где протекала ее жизнь, не казался ей таким крохотным. С этой высоты вся долина представлялась огромным бледным озером, испаряющимся в воздухе. Рощи вздымались там и сям подобно черным скалам; а высокие ряды тополей, выступавших из тумана, представлялись колеблющимися от ветра берегами.

В стороне, на лужайке, в теплой атмосфере между елями блуждал мглистый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, земля глушила звуки шагов; и лошади, ступая по ней, разбрасывали подковами опавшие сосновые шишки.

Родольф и Эмма ехали вдоль опушки, Эмма время от времени отворачивалась, избегая его взгляда, и тогда видела только вытянутые в ряды стволы елей; от их непрерывной смены у нее немножко кружилась голова, храпели лошади. Поскрипывали кожаные седла.

В тот момент, когда они въезжали в лес, появилось солнце.

– Бог благословляет нас! – сказал Родольф.

– Вы думаете? – спросила Эмма.

– Вперед, вперед! – отвечал он и щелкнул языком.

Лошади побежали.

Высокие придорожные папоротники запутывались в стремени Эммы. Время от времени Родольф, не задерживаясь, наклонялся и выдергивал их оттуда. Иногда он обгонял Эмму, чтобы раздвинуть перед ней ветви, и тогда она чувствовала, как его колено скользит по ее ноге. Небо поглубело. Ни один лист не шелохнулся. Попадались широкие поляны, сплошь покрытые цветущим вереском; ковры фиалок чередовались с древесными чащами, серыми, желтыми или золотыми, смотря по породе деревьев. Под кустами то и дело слышно было хлопанье крыльев; хрипло и нежно кричали вороны, взлетая на дубы.

Спешились. Родольф привязал лошадей. Эмма пошла вперед по замшелой колее.

Но слишком длинное платье мешало ей, хотя она и подбирала шлейф, так что Родольф, идя следом, видел между черным сукном и черными ботинками полоску тонких белых чулок, в которой ему чудилось нечто от ее наготы.

Эмма остановилась.

– Я устала, – сказала она.

– Ну, еще немножко! – отвечал он. – Крепитесь!

Пройдя шагов сто, она снова остановилась; сквозь вуаль, наискось падавшую с ее мужской шляпы на бедра, лицо ее виднелось в синеватой прозрачности; оно как бы плавало под лазурными волнами.

– Куда же мы идем?

Он не отвечал. Она прерывисто дышала. Родольф поглядывал кругом и кусал усы.

Вышли на широкую прогалину, где был вырублен молодняк. Уселись на поваленный ствол, и Родольф заговорил о своей любви.

Вначале он не стал пугать Эмму комплиментами. Он был спокоен, серьезен и меланхоличен.

Эмма слушала его, опустив голову, и тихонько шевелила носком ботинка белевшие на земле щепки.

Но на фразу:

– Разве теперь судьбы наши не соединились? – она ответила:

– Нет, нет! Вы сами знаете. Это невозможно.

Она встала и хотела идти. Он схватил ее за руку. Она остановилась. И, посмотрев на него долгим, любящим, влажным взглядом, живо сказала:

– Ах, не будем об этом говорить... Где наши лошади? Едемте обратно.

У него вырвался жест гневной досады. Эмма повторила:

– Где наши лошади? Где лошади?

Тогда он, улыбаясь странной улыбкой, пристально глядя на Эмму и стиснув зубы, расставил руки и пошел на нее. Она задрожала и попятилась.

– О, мне страшно! – шептала она. – Вы меня так огорчаете! Едемте обратно.

– Ну, раз так надо... – ответил он, меняясь в лице.

И сразу стал опять почтительным, ласковым и робким. Она подала ему руку. Пошли назад.

– Что это с вами было? – спрашивал он. – Скажите мне. Я не понял. Вы, верно, ошиблись. В моей душе вы – как мадонна на пьедестале, на высоком, недоступном, незапятнанном месте. Но вы необходимы мне, чтобы я мог жить! Мне необходимы ваши глаза, ваш голос, ваши мысли. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!

И, протянув руку, он обнял ее за талию. Эмма вяло попыталась освободиться. Он все держал ее и шел по тропинке.

Но вот они услышали, как лошади щиплют листву.

– О, еще немножко, – сказал Родольф. – Не надо уезжать! Оставайтесь!

И, увлекая ее за собой, он двинулся вокруг маленького, сплошь зацветшего пруда. Увядавшие кувшинки были неподвижны среди камышей. Лягушки прыгали в воду, слышав шаги по траве.

– Нехорошо я делаю, нехорошо, – говорила она. – Слушать вас – безумие.

– Почему? Эмма! Эмма!

– О Родольф!... – медленно произнесла женщина, склоняясь на его плечо.

Сукно ее платья цеплялось за бархат фрака. Она откинула назад голову, ее белая шея раздулась от глубокого вдоха, – и, теряя сознание, вся в слезах, содрогаясь и пряча лицо, она отдалась.

Спускались вечерние тени; косые лучи солнца слепили ей глаза, проникая сквозь ветви. Вокруг нее там и сям, на листве и на траве, дрожали пятнышки света, словно здесь летали колибри и на лету роняли перья. Тишина была повсюду; что-то нежное, казалось, исходило от деревьев; Эмма чувствовала, как вновь забилося ее сердце, как кровь теплой струей бежала по телу. И тогда она услышала вдали, над лесом, на холмах, неясный и протяжный крик, чей-то певучий голос и молча стала прислушиваться, как он, подобно музыке, сливался с последним трепетом ее взволнованных нервов. Родольф, держа в зубах сигару, связывал оборвавшийся повод, подрезая его перочинным ножом.

Они вернулись в Ионвиль той же дорогой. Они видели на грязи шедшие рядом следы своих лошадей, им встречались те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг них не изменилось; а между тем для Эммы свершилось нечто более значительное, чем если бы горы сдвинулись с места. Время от времени Родольф наклонялся, брал ее руку и целовал.

Она была очаровательна в седле! Выпрямлен тонкий стан, согнутое колено лежало на гриве, лицо немного покраснелось от воздуха и багрового заката.

Въехав в Ионвиль, она загарцевала по мостовой. На нее глядели из окон.

За обедом муж нашел, что у нее прекрасный вид; стал расспрашивать о прогулке, но Эмма, казалось, не слышала его слов; она неподвижно сидела над тарелкой, облокотившись на стол, освещенный двумя свечами.

– Эмма! – сказал он.

– Что?

– Знаешь, сегодня я заезжал к господину Александру: у него есть старая кобылка, – она еще очень хороша, только немного облысела на коленях. Я уверен, что за сотню экю ее уступят...

И добавил:

– Я даже подумал, что тебе это будет приятно, и оставил ее за собой... купил... Хорошо я сделал? Да ответь же!

Эмма утвердительно кивнула головой... Прошло четверть часа, она спросила:

– Ты сегодня вечером куда-нибудь идешь?

– Да, а что?

– О, ничего, ничего, друг мой.

И, отделившись от него, тотчас заперлась у себя в комнате.

Сначала у нее началось словно головокружение; она видела перед собой деревья, дороги, канавы, Родольфа, она еще чувствовала его объятия, и листья трепетали над ней, и шуршали камыши.

Но, взглянув на себя в зеркало, она сама удивилась своему лицу. Некогда у нее не было таких огромных, таких черных, таких глубоких глаз. Какая-то особенная томность разливалась по лицу, меняя его выражение.

«У меня любовник! Любовник!» – повторяла она, наслаждаясь этой мыслью, словно новой зрелостью. Наконец-то познает она эту радость любви, то волнение счастья, которое уже отчаялась испытать. Она входила в какую-то страну чудес, где все будет страстью, восторгом, исступлением; голубая бесконечность окружала ее, вершины чувства искрились в ее мыслях, а будничное существование виднелось где-то далеко внизу, в тени, в промежутках между этими высотами.

И тогда она стала вспоминать героинь прочитанных ею книг, и лирический хоровод неверных жен запел в ее памяти очаровательными родными голосами. Она сама как бы входила живым звеном в эту цепь вымышленных образов и сама становилась воплощением долгих мечтаний своей юности; она узнавала в себе тот самый тип влюбленной женщины, которому так завидовала.

Кроме того, она испытала удовлетворение мести. Разве мало она выстрадала! Но теперь она торжествовала; и так долго сдерживаемая страсть веселым бурлящим ручьем вырвалась наружу. Эмма вкушала ее без угрызения совести, без тревоги, без смущения.

Следующий день прошел в новых восторгах. Родольф и Эмма принесли друг другу клятвы. Она рассказывала о своих былых горестях. Он прерывал ее поцелуями; и она, глядя на него сквозь опущенные ресницы, просила еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее любит. Это было, как и накануне, в лесу – в пустом шалаше крестьянина, промышлявшего деревянными башмаками. Стены были соломенные, а крыша такая низкая, что приходилось все время нагибаться. Любовники сидели друг против друга на ложе из сухих листьев.

С этого дня они стали писать друг другу каждый вечер. Эмма относил свои письма в дальний конец сада, к реке, и засовывала их в трещину террасы. Родольф приходил туда, брал ее письмо, клал на его место свое, – и оно всегда казалось Эмме слишком коротким.

Однажды утром, когда Шарль уехал до зари, ей вдруг пришла фантазия сию же минуту увидеть Родольфа. Можно было сбегать в Ла-Юшетт, побыть там час и вернуться в Ионвиль, пока все еще спят. При этой мысли Эмма задохнулась от страсти – и через несколько минут уже быстрыми шагами, не оглядываясь, шла по лугу.

Начинало светать, Эмма издали узнала дом своего возлюбленного: на бледном фоне зари резко выделялась двумя стрельчатыми флюгерами крыша.

За двором фермы стоял флигель; это, наверно, и был барский дом. Она вошла в него так, словно стены сами раздались перед нею. Высокая прямая лестница вела в коридор. Эмма повернула дверную ручку и вдруг увидела в дальнем углу комнаты спящего человека. То был Родольф. Она вскрикнула.

– Это ты! Ты! – повторял он. – Как ты сюда попала?.. Ах, у тебя намокло платье!

– Я тебя люблю! – отвечала она, закидывая руки ему на шею.

Этот первый смелый шаг сошел удачно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма наскоро одевалась и на цыпочках сбегала по террасе к воде.

Миновав коровий выгон, приходилось идти у самых стен, тянувшихся вдоль реки; берег был скользкий; чтобы не упасть, Эмма цеплялась руками за пучки отцветшего левкоя. Потом она устремлялась напрямик через вспаханные поля, спотыкаясь, увязая, пачкая свои тонкие ботинки. В лугах платок на ее голове развевался от ветра, – она боялась быков и бежала бегом; она приходила запыхавшись, порозовевшая, и от нее веяло свежестью, страстью, ароматом зелени и вольного воздуха. В этот час Родольф еще спал. Словно весеннее утро врвалось в его комнату.

Сквозь желтые оконные занавески мягко пробивался блеклый палевый свет. Сощутив глаза, Эмма шла ощупью, и капли росы в волосах окружали ее лицо как бы топазовым ореолом. Родольф со смехом притягивал ее к себе и прижимал к сердцу.

Потом она оглядывала комнату, выдвигала ящики комодов, причесывалась его гребнем, гляделась в его зеркальце для бритвы. Часто она даже брала в зубы чубук длинной трубки, лежавшей на ночном столике, вместе с лимонами и сахаром, около графина с водой.

Прощание всякий раз тянулось добрую четверть часа. Эмма плакала; ей хотелось бы никогда не покидать Родольфа. Ее толкало к нему что-то, что было сильнее ее, – и вот однажды, когда она снова внезапно явилась, он нахмурил лоб, словно с ним случилась неприятность.

– Что с тобой? – добивалась Эмма. – Ты болен? Скажи мне!

В конце концов он с очень серьезным видом заявил, что ее посещения становятся все безрассуднее, что она себя компрометирует.

X

Мало-помалу она заразилась от Родольфа этим страхом. Сначала она была опьянена любовью и ни о чем на свете не думала. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, Эмма стала бояться потерять хотя бы частицу ее или даже встретить малейшую помеху. Возвращаясь от Родольфа, она подозрительно оглядывала все кругом, опасаясь всякой фигуры на горизонте, всякого окошка, из которого ее могли увидеть. Она прислушивалась к шагам, вскрикам, тархтению телег; она останавливалась, вся бледная и трепещущая, как листва тополей, склонившихся над ее головой.

Однажды утром, когда она таким образом шла домой, ей вдруг показалось, что прямо в нее целится длинное дуло карабина. Оно высовывалось наискось из-за края небольшой бочки, полузапрятанной в траве, на краю канавы. Чуть не падая от ужаса, Эмма все-таки подошла, – и из бочки встал человек; так чертик выскакивает на пружинке из коробочки. На нем были гетры, застегнутые до самых колен, и надвинутая на глаза фуражка. Губы его тряслись, нос покраснел. То был капитан Бине: он сидел здесь в засаде на диких уток.

– Вам бы следовало окликнуть меня издали! – громко сказал он. – Когда видишь ружье, всегда надо предупредить.

Этими словами сборщик налогов пытался скрыть свой страх: охота на уток иначе как с лодки была воспрещена особым распоряжением префекта, так что г-н Бине, при всем своем уважении к законам, оказывался нарушителем их. Каждую минуту ему чудились шаги полевого сторожа. Но от этого волнения удовольствие его только росло, и, сидя в бочке, он потихоньку радовался своему счастью и своей хитрости.

Узнав Эмму, он почувствовал, что у него гора свалилась с плеч, и тотчас завязал разговор:

– Сегодня не жарко, *пощипывает!*

Эмма молчала.

– Так рано, а вы уже гуляете? – продолжал он.

– Да, – запинаясь, проговорила она, – я иду от кормилицы, – там моя дочь.

– А, прекрасно, прекрасно! Я же, как изволите видеть, сижу здесь с самой зари; но погода такая мерзкая, что если только нет дичи под самым...

– Всего хорошего, – прервала его Эмма и повернулась спиной.

– Ваш покорнейший слуга, сударыня, – сухо ответил он.

И снова влез в бочку.

Эмма очень жалела, что так невежливо рассталась со сборщиком. Теперь он, конечно, примется за всякие предположения. Выдумка с кормилицей никуда не годится: весь Ионвиль прекрасно знает, что маленькая Берта вот уже целый год как вернулась к родителям. К тому же в той стороне никто и не живет; дорога ведет только в Ла-Юшетт; значит, Бине догадался, откуда она шла, и он не станет молчать, он непременно все разболтает! До самого вечера Эмма мучилась, придумывая, что бы и как ей солгать, и перед глазами ее неотступно стоял этот болван со своим ягдташем.

После обеда Шарль, видя озабоченность жены и желая развлечь ее, предложил зайти к аптекарю. И первый же человек, которого Эмма увидела в аптеке, был не кто иной, как сборщик налогов! Стоя перед прилавком в свете красного шара, он говорил:

– Дайте мне, пожалуйста, пол-унции купороса.

– Жюстен, – закричал аптекарь, – принеси нам сюда серной кислоты!

И тут же повернулся к Эмме, которая хотела подняться в комнату г-жи Омэ:

– Нет, посидите здесь, не утруждайте себя, она сейчас спустится. Вы лучше погрейтесь пока у печки... Простите меня... Здравствуйте, доктор! (Фармацевт всегда с необыкновенным удовольствием произносил слово «доктор»: даже будучи обращено к другому, оно все же и на него отбрасывало некий отблеск своего великолепия.) Смотри не опрокинь ступку! Лучше принеси стулья из маленькой залы; ты сам знаешь, что в гостиной трогать мебель не полагается.

И Омэ, желая поставить на место свое кресло, выскочил из-за прилавка. Тут Бине спросил у него пол-унции сахарной кислоты.

– Сахарной кислоты? – презрительно произнес аптекарь. – Не знаю такой, не имею понятия! Вам, быть может, требуется щавелевая кислота? Не так ли? Щавелевая?

Бине объяснил, что ему нужно едкое вещество для особого состава, которым он сводит ржавчину с разных охотничьих принадлежностей. Эмма вздрогнула.

– В самом деле, – заговорил Омэ, – погода не слишком благоприятна: чрезмерно сыро.

– А между тем, – лукаво заметил сборщик, – некоторые особы этим не смущаются.

Эмма задыхалась.

– Дайте мне еще...

«Он так никогда и не уйдет!» – думала Эмма.

– Пол-унции канифоли и скипидару, четыре унции желтого воска и полторы унции жженой кости. Этим я чищу лаковые ремни.

Аптекарь только начал резать воск, когда появилась г-жа Омэ. На руках она держала Ирму, рядом с нею шел Наполеон, а следом Аталия. Почтенная дама уселась у окна на бархатную скамейку, мальчишка взгромоздился на табурет, а его сестренка подошла к папочке и стала вертеться возле коробки с ююбой. Омэ наливал жидкости в воронки, закупоривал склянки, наклеивал этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали; только время от времени слышалось звяканье разновесом да шепот аптекаря, дававшего советы своему ученику.

– А как ваша маленькая? – спросила вдруг г-жа Омэ.

– Тише! – воскликнул г-н Омэ, записывая в черновую тетрадь какие-то цифры.

– Почему вы не привели ее? – вполголоса продолжала хозяйка.

– Тсс! тссс! – произнесла Эмма, показывая пальцем на аптекаря.

Но Бине в это время погрузился в чтение счета и, наверно, ничего не слышал. Наконец-то он ушел! Эмма вздохнула с облегчением.

– Как вы тяжело дышите! – сказала г-жа Омэ.

– Мне немного жарко, – отвечала она.

И вот на следующий же день было решено наладить свидания как следует. Эмма хотела подкупить свою служанку подарком; но еще лучше было бы найти в Ионвиле какой-нибудь укромный домик. Родольф обещал подыскать.

На протяжении всей зимы он по три, по четыре раза в неделю приходил в сад, дождавшись полной тьмы. Эмма дала ему ключ от калитки, который она припрятала; а Шарль думал, что ключ утерян.

Чтобы дать знать о себе, Родольф бросал в окно горсть песка. Эмма сейчас же вскакивала с кровати; но иногда приходилось и подождать, так как Шарль любил подолгу болтать у камина.

Эмма изнывала от нетерпения; она готова была уничтожить мужа взглядом. Наконец она начинала свой ночной туалет; потом спокойно принималась за книгу, притворяясь, будто очень увлекается чтением. Но тут Шарль, в это время уже лежавший в постели, звал ее спать.

– Иди же, Эмма, – говорил он, – пора!

– Иду, иду! – отвечала она.

Свет мешал Шарлю, он отворачивался к стене и скоро засыпал. И тогда Эмма, чуть дыша, убегала, улыбающаяся, трепещущая, едва одетая.

Родольф приходил в длинном плаще; он закутывал ее в этот плащ и, обхватив рукой за талию, молча увлекал в глубину сада.

То было в беседке, на той самой подгнившей скамье, где когда-то летними вечерами Леон так влюбленно глядел на Эмму. Теперь она совсем о нем не думала.

Сквозь оголенные ветви жасмина сверкали звезды. За своей спиной любовники слышали шум реки, да время от времени на берегу трещал сухой камыш. Тьма кое-где сгущалась пятнами, и иногда тени эти с внезапным трепетом выпрямлялись и склонялись; надвигаясь на любовников, они грозили накрыть их словно огромные черные волны. От ночного холода они обнимались еще крепче, и как будто сильнее было дыхание уст; больше казались еле видевшие друг друга глаза, и среди мертвой тишины шепотом сказанное слово падало в душу с кристальной звучностью и отдавалось бесчисленными повторениями.

Если ночью шел дождь, они скрывались в рабочем кабинете Шарля, между конюшней и сараем. Эмма зажигала в кухонном шандале свечу, спрятанную за книгами, Родольф устраивался как дома. Его смешил и книжный шкаф, и письменный стол, и вообще вся комната; он не мог удержаться, чтобы не подтрунить над Шарлем, и это смущало Эмму. Ей хотелось бы, чтобы он был серьезнее, а иной раз и драматичнее. Так однажды ей почудились в сенях приближающиеся шаги.

– Кто-то идет! – сказала она.

Он задул свет.

– У тебя есть пистолеты?

– Зачем?

– Как зачем?... Защищаться... – отвечала Эмма.

– Это от мужа твоего? Ах он, бедняга!

И Родольф закончил фразу жестом, обозначающим: «Да я его щелчком разможжу».

Эмма была поражена его храбростью, хотя и ощутила в ней какую-то неделикатность и наивную грубость; это ее шокировало.

Родольф долго думал об эпизоде с пистолетами. Если она говорила серьезно, рассуждал он, то это очень смешно и даже противно. Вовсе не будучи, что называется, снедаем ревностью, он не имел никаких оснований ненавидеть добряка Шарля; а между тем в этом отношении Эмма принесла Родольфу торжественную клятву, которая показалась ему заверением не совсем хорошего тона.

Кроме того, Эмма становилась слишком сентиментальной. С ней надо было обмениваться миниатюрами, срезать для нее пряди волос, а теперь она требовала от него кольцо,

настоящее обручальное кольцо, в знак вечного союза. Она часто заговаривала то о вечернем звоне, то о *голосах природы*; потом начинала размышлять о своей матери, а там и о матери его, Родольфа. С тех пор как он осиротел, прошло уже двадцать лет. Это не мешало Эмме утешать его в потере родителей и так сюсюкать, словно она имела дело с покинутым карапузом. Иногда она даже говорила ему, глядя на луну:

– Я уверена, что обе они благословляют оттуда нашу любовь.

Но она была так хороша собой! И так редко встречалась ему подобная чистота! Эта любовь без разврата была для него совершенной новостью; она выходила за пределы его легко-мысленных привычек и одновременно льстила как его тщеславию, так и чувственности. Всем своим мещанским здравым смыслом он презирал восторженность Эммы, но в глубине души наслаждался ею: ведь она была направлена на его собственную персону. И вот, уверившись в любви Эммы, он перестал стесняться, и манеры его заметно изменились.

У него не стало ни тех нежных слов, от которых она когда-то плакала, ни тех яростных ласк, которые доводили ее до безумия; великая любовь, в которую Эмма погружалась с головой, иссыкала, как высыхает в своем русле река, – и уже обнажалась тина. Эмма не хотела этому верить; нежность ее усилилась, а Родольф все меньше и меньше скрывал равнодушие.

Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила ему, или, быть может, наоборот, хочет полюбить его еще больше. Унизительное чувство собственной слабости переходило в досаду, которую умеряло наслаждение. То была не привязанность, а как бы непрерывный соблазн. Родольф поработал Эмму. Она его почти боялась.

А между тем внешне все было спокойно как никогда: Родольфу удалось направить связь по своему вкусу; и через полгода, когда пришла весна, любовники оказались чем-то вроде двух супругов, спокойно поддерживающих домашний пламень.

Было как раз то время, когда дядюшка Руо ежегодно присылал индюшку в память излечения своей ноги. К подарку всегда прилагалось письмо. Эмма перерезала шнурок, которым оно было прикреплено к корзинке, и прочла следующие строки:

«Дорогие мои дети!

Надеюсь, что это письмо найдет вас в добром здоровье и что индюшка окажется не хуже прежних; мне самому она, смею сказать, кажется немного нежнее и мясистее. Но на будущий год я для разнообразия пришлю вам индюка, если только вы не предпочитаете каплуна; и верните мне, пожалуйста, плетенку, а с ней и две старых. У меня случилось несчастье: ночью поднялся сильный ветер и сорвал с сарая крышу, так что она отлетела к деревьям. Урожай тоже не бог весть какой. Словом, я не знаю, когда доведется навестить вас. Мне теперь не на кого оставить дом, ведь я живу один, милая моя Эмма!...»

Здесь был перерыв между строчками: старик словно уронил перо и надолго задумался.

«А я здоров, только на днях схватил в Ивето насморк. Я ездил туда на ярмарку – надо было нанять пастуха: своего я прогнал; очень уж он стал привередлив. Тяжело приходится с этими разбойниками! К тому же и малый он был нечестный.

Я видел одного коробейника, который зимой побывал в ваших краях и вырвал там себе зуб. Он говорит, что Бовари по-прежнему работает вовсю. Это меня не удивило; он показал мне свой зуб, мы вместе выпили кофе. Я спросил его, не видел ли он тебя, а он сказал, что нет, но видел в конюшне двух лошадей, откуда я заключаю, что дела у вас неплохи. Тем лучше, дорогие мои дети, и пошли вам господь всякого счастья.

Мне очень грустно, что я еще не знаю моей горячо любимой внучки Берты Бовари. Я для нее посадил в саду, напротив твоей комнаты, сливу, и

никому не позволяю ее трогать. Позже мы из ее плодов наварим варенья, и я буду его беречь для внучки в шкафу, а когда она придет, то сможет брать, сколько захочет.

Прощайте, дорогие мои дети. Обнимаю тебя, дочка, и вас тоже, милый зять, а малютку целую в обе щеки.

Остаюсь с наилучшими пожеланиями
ваш любящий отец
Теодор Руо».

Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. Орфографические ошибки грозились одна на другую. Но она чувствовала, как нежная мысль тихо клохчет сквозь их сплетения, словно укрывшаяся в кустах наседка. Чернила были просушены золой из камина, – на платье Эммы упало с письма немного серой пыли, – и она почти въявь увидела, как отец наклоняется к решетке за щипцами. Давно уже не сидела она рядом с ним на скамеечке, давно не помещивала палкой горящий с треском дрок, пока не вспыхнет конец палки!.. Ей вспоминались солнечные летние вечера. Ржали жеребята, когда пройдешь мимо них, и прыгали, прыгали... А под ее окном был улей, и иногда пчелы, кружась в солнечном свете, ударялись в стекла, как упругие золотые шарики. Как счастливо жилось в те времена! Какая свобода! Сколько надежд! Какое множество иллюзий! Теперь от них ничего не осталось. Она утратила их во всех романтических переживаниях своей души, во всех последовательных состояниях – в девичестве, в браке, в любви; она теряла их, проходя свою жизнь, как путешественник, оставляющий по частице своего богатства в каждой дорожной гостинице.

Но кто же сделал ее такой несчастной? Отчего произошла та необычайная катастрофа, которая потрясла ее? И Эмма подняла голову и оглянулась кругом, словно ища то, от чего она страдала.

Луч апрельского солнца переливался всеми цветами радуги на фарфоровых безделушках; топился камин; под своими туфлями она ощущала мягкость ковра; день был светлый, воздух теплый, слышался звонкий смех ее ребенка.

Девочка каталась по лужайке, в скошенной траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Нянька придерживала ее за платье. Тут же рядом работал граблями Лестибудуа, и всякий раз, как он приближался, Берта свешивалась вниз и размахивала в воздухе ручонками.

– Приведите ее сюда! – сказала мать и с распростертыми объятиями бросилась навстречу. – Как я люблю тебя, милая моя детка! Как я тебя люблю!

Заметив, что у Берты не совсем чистые уши, она живо позвонила, велела принести горячей воды, вымыла девочку, переменила ей белье, чулки, башмачки, засыпала служанку вопросами о ее здоровье, словно только что вернулась из далекого путешествия. Наконец она со слезами на глазах еще раз поцеловала дочь и отдала ее на руки Фелиситэ, которая совсем ошолбенела от такого неожиданного взрыва нежности.

Вечером Родольф нашел, что Эмма стала гораздо серьезнее обычного.

– Пройдет, – решил он. – Просто каприз.

И пропустил три свидания подряд. Когда он, наконец, пришел, она повела себя с ним холодно и почти пренебрежительно.

«Ты только теряешь время, крошка моя...»

И он притворился, будто не замечает ни ее меланхолических вздохов, ни того, как она комкает в руках платок.

Вот когда Эмма раскаялась!

Она даже спрашивала себя, за что она так ненавидит Шарля, и не лучше ли было бы постараться его полюбить. Но он, видимо, не слишком оценил этот возврат чувства, так что Эмме оказалось очень трудно удовлетворить свое стремление к жертвам; тут весьма кстати явился аптекарь и предоставил ей прекрасный случай.

XI

Он как раз прочел восторженную статью о новом методе лечения искривления стопы и, будучи сторонником прогресса, возымел патристическую мысль, что Ионвиль должен быть на высоте, а для этого необходимо произвести в нем операцию стрепоподии.

– Ибо чем мы рискуем? – говорил он Эмме. – Исследуйте вопрос (и он принимался высчитывать по пальцам все выгоды такой попытки): почти верный успех, для больного – облегчение и большой косметический результат, для врача – быстрый рост известности. Почему бы, например, вашему супругу не помочь этому бедняге Ипполиту из «Золотого льва»? Заметьте, что он неукоснительно будет рассказывать о своем лечении всем проезжающим, да и кроме того (тут Омэ понижал голос и оглядывался), кто помешает мне послать об этом заметочку в газету? Ах, боже мой! Газета ходит по рукам... Начинаются разговоры... В конце концов все это растет, как снежный ком! И кто знает, кто знает?..

В самом деле, Бовари мог бы добиться успеха; у Эммы не было никаких оснований считать его неспособным, – а каким удовлетворением было бы для нее, если бы она побудила его совершить поступок, от которого возросли бы его репутация и доходы! Ей очень хотелось опереться на что-нибудь посolidнее любви.

Шарль уступил настояниям аптекаря и жены: он выписал из Руана книгу доктора Дюваля и каждый вечер, стиснув голову руками, углублялся в чтение.

Пока он изучал *equinus*, *vagus* и *valgus*, то есть стрепокатоподию, стрепендоподию и стрепфесоподию (или, лучше сказать, различные виды искривления стопы – вниз, внутрь и наружу), а также стрепипоподию и стрепаноподию (иначе говоря, неправильное положение с выпрямлением вниз или с заворотом кверху), – г-н Омэ всяческими рассуждениями убеждал трактирного слугу сделать себе операцию.

– Много-много, если ты почувствуешь легкую боль; тут нужен простой укол, вроде маленького кровопускания; это менее болезненно, чем удаление некоторых мозолей!

Ипполит раздумывал, вращая глупыми глазами.

– В конце концов, – продолжал аптекарь, – мне-то ведь безразлично! Все это затеяно для тебя! Из чистого человеколюбия! Я хотел бы, друг мой, чтобы ты освободился от этого безобразного прихрамывания с колебанием поясничной области; что бы ты там ни говорил, оно должно значительно затруднять тебе выполнение твоих профессиональных обязанностей.

Тут Омэ принимался излагать конюху, насколько живее и подвижнее он станет, и даже давал понять, что со здоровой ногой он будет больше нравиться женщинам; тогда Ипполит начинал вяло улыбаться. Наконец фармацевт, атакуя его, старался подействовать на его самолюбие.

– Или ты не мужчина, черт возьми?.. А что, если бы тебе понадобилось служить, сражаться под знаменами?.. Ах, Ипполит!

И Омэ удалялся, заявляя, что не понимает такого упрямства, такого невежества. Как можно отказываться от благодеяний науки?

Несчастный сдался, ибо вокруг него образовался как бы заговор. Бине, никогда не вмешивавшийся в чужие дела, г-жа Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, г-н Тюваш, – все его уговаривали, убеждали, стыдили; но больше всего соблазняло его то, что *все это ничего не будет ему стоить*. Бовари взял на свой счет даже прибор для операции. Идея этого щедрого поступка принадлежала Эмме; а Шарль согласился, причем в глубине души подумал, что жена его – настоящий ангел.

И вот он заказал столяру, дав ему в помощь слесаря, нечто вроде ящика, фунтов на восемь весу. Он следил за работой вместе с аптекарем; прибор переделывали три раза и отнюдь не пожалели ни железа, ни дерева, ни жести, ни кожи, ни гаек, ни шурупов.

Но чтобы знать, какую связку перерезать, надо было сначала установить, каким именно видом искривления стопы страдает Ипполит.

Стопа шла у него почти по одной линии с голенью, что не мешало быть ей вывернутой и внутрь; таким образом у него был *equinus*, слегка осложненный *vagus*'ом, или же легкий *vagus*, сопряженный с сильным *equinus*'ом. Но на этой своей «лошадиной стопе»,⁶ – она в самом деле была широка, как копыто, а загрубелая кожа, сухие связки, толстые пальцы, на которых черные ногти казались гвоздями подков, довершали сходство, – наш стрефопод бегал с утра до ночи не хуже оленя. Вечно он был на площади и подпрыгивал вокруг телег, выбрасывая вперед свою кривую подпорку. Казалось, она даже была у него сильнее здоровой ноги. От большого упражнения она как бы приобрела душевные свойства терпения и энергии, и, когда Ипполиту приходилось тяжело, он опирался предпочтительно именно на нее.

Раз искривление относилось к типу *equinus*, надо было прежде всего рассечь ахиллесово сухожилие, а уж потом взяться за передний берцовый мускул, чтобы тем самым устранить и *vagus*; сделать сразу обе операции врач не решался; он и так весь трясся от страха задеть какой-нибудь неизвестный ему важный орган.

Ни у Амбруаза Парэ, который впервые после Цельза, спустя пятнадцать веков перерыва, взялся за непосредственную перевязку артерий; ни у Дюпюитрена, приступавшего к вскрытию нарыва, глубоко заложенного в мозговом веществе; ни у Жансуля, когда он впервые решился проникнуть скальпелем в верхнюю челюсть, – ни у кого из них так не билось сердце, так не дрожала рука, не был так напряжен интеллект, как у г-на Бовари, когда он с *тенотомом* в руках приблизился к Ипполиту. Рядом, словно в настоящей больнице, стоял стол, а на нем – куча корпии, вощенной нитки и множество бинтов, – целая пирамида бинтов, все бинты, какие только нашлись в аптеке. Приготовлениями с самого утра занимался г-н Омэ: этим он столько же воодушевлял самого себя, сколько и ослеплял толпу. Шарль проткнул кожу; послышался легкий сухой треск. Связка была перерезана, операция кончилась. Ипполит прийти в себя не мог от изумления; он наклонился к рукам Бовари и стал покрывать их поцелуями.

– Ну, успокойся же, – говорил аптекарь. – Ты еще успеешь засвидетельствовать признательность своему благодетелю!

И он вышел рассказать о результатах операции пяти или шести любопытным, которые собрались во дворе, воображая, что сейчас появится Ипполит с совершенно здоровой ногой. Затем Шарль пристегнул пациента к своему механическому прибору и вернулся домой, где его, волнуясь, ждала на пороге Эмма. Она бросилась ему на шею. Сели за стол; Шарль ел много, а за десертом даже спросил чашку кофе, – такую роскошь он обычно позволял себе только по воскресеньям, когда бывали гости.

Вечер прошел очаровательно, в разговорах и дружных мечтаниях. Говорили о будущем богатстве, об улучшениях в доме; Шарлю чудилось, что известность его распространяется, состояние растет, жена не перестает его любить. Эмма была счастлива, что может освежить себя новым, более здоровым, более чистым чувством, ощутить, наконец, некоторую нежность к этому бедному малому, – ведь он ее обожает. На секунду ей пришла в голову мысль о Родольфе, но тут глаза ее обратились к Шарлю, и она даже заметила не без удивления, что у него далеко не плохие зубы.

Супруги лежали в постели, когда г-н Омэ, несмотря на сопротивление кухарки, устремился в комнату с листком бумаги в руках. То была только что написанная им рекламная статья в «Руанский фонарь». Он принес ее показать.

– Прочтите сами, – сказал Бовари.

Аптекарь стал читать.

⁶ *Pes equinus* – лошадиная стопа (лат.).

– «Несмотря на предрассудки, все еще опутывающие, подобно густой сети, часть Европы, свет все же начинает проникать и в наши сельские местности. Так, во вторник наш маленький городок Ионвиль оказался ареною хирургического опыта, одновременно являющегося и актом высокого человеколюбия. Один из замечательнейших наших практиков, господин Бовари...»

– Это уж слишком! Слишком! – задыхаясь от волнения, произнес Шарль.

– Да нет же, нисколько! Что вы!.. «оперировал искривление стопы...» Я не стал пользоваться научным термином: вы сами понимаете – газета... Может быть, не все поймут... Надо же массам...

– В самом деле, – заметил Шарль. – Продолжайте.

– Я – всю фразу, – сказал аптекарь. – «Один из замечательнейших наших практиков, господин Бовари, оперировал искривление стопы некоему Ипполиту Тотену, уже двадцать пять лет служащему конюхом в гостинице «Золотой лев», которую содержит на площади д'Арм госпожа Лефрансуа – вдова. Новизна опыта и симпатия к пациенту вызвали такое скопление народа, что у порога заведения происходила настоящая давка. Что до самой операции, то она совершилась как бы по волшебству, и лишь несколько капелек крови выступили на поверхности кожи, словно возвещая, что мятежная связка поддалась, наконец, усилиям искусства. Удивительно, что больной (мы утверждаем это *de visu*⁷) совершенно не жаловался на боль. Состояние его пока что не оставляет желать ничего лучшего. Мы имеем все основания предполагать, что процесс выздоровления будет очень краток, и, кто знает, не увидим ли мы на ближайшем сельском празднике, как наш добрый Ипполит отличится посреди хора веселых молодцов в вакхических плясках и таким образом всенародно докажет своим воодушевлением и антраша полное свое излечение! Слава же всем великодушным ученым! Слава неутомимым умам, проводящим бессонные ночи над усовершенствованием рода человеческого или облегчением его страданий! Слава! Трижды слава! Не пора ли теперь воскликнуть, что прозрят слепые, услышат глухие и пойдут безногие? То самое, что фанатизм некогда сулил одним своим избранным, наука ныне на деле дает всем! Мы будем держать наших читателей в курсе всех последовательных стадий этого столь замечательного лечения».

Но тем не менее пять дней спустя к врачу прибежала насмерть перепуганная тетушка Лефрансуа.

– Помогите! Он умирает!.. Я совсем потеряла голову! – кричала она.

Шарль кинулся к «Золотому льву», а аптекарь, видя, как он бежит по улице без шляпы, бросил аптеку. Красный, запыхавшийся, встревоженный, явился он в трактир и стал расспрашивать всех, кто был на лестнице:

– Что такое с нашим интересным стрефоподом?

А стрефопод корчился в жестоких судорогах, так что механический прибор, в который была зажата его нога, бился в стену, чуть не проламывая ее насквозь.

Принимая тысячу предосторожностей, чтобы не обеспокоить больную ногу, врач снял с нее ящик – и перед ним открылось ужасающее зрелище. Вся стопа исчезла в такой огромной опухоли, что на ней почти лопалась натянувшаяся кожа, и все это место было в кровоподтеках от давления знаменитого прибора. Ипполит уже давно жаловался на боль, но на это не обращали внимания; теперь пришлось признать, что он был не совсем неправ; его на несколько часов оставили свободным от ящика. Но как только вздутие опало, двое ученых сочли своевременным снова надеть на ногу свой аппарат и притом покрепче завинтить его, чтобы срастание пошло поскорее. Наконец через три дня Ипполит не выдержал; и когда экспериментаторы снова сняли механизм, то очень удивились обнаруженным результатам. Уже не только по стопе, а и по голени распространился белесоватый отек, а на нем местами сидели прыщи, из которых сочилась черная жидкость. Дело принимало серьезный оборот. Ипполит заскучал, и

⁷ В качестве очевидца (*лат.*).

чтобы у него было хоть какое-нибудь развлечение, тетушка Лефрансуа устроила его в маленькой комнате около кухни.

Но там ежедневно обедал сборщик налогов, он сердито жаловался на такое соседство, и Ипполита перенесли в бильярдную.

Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, он охал под толстыми одеялами и только время от времени поворачивал на грязной, засиженной мухами подушке свою потную голову. Г-жа Бовари навещала больного. Она приносила ему чистые тряпки для припарок, утешала его, подбадривала. Впрочем, в обществе у него недостатка не было, особенно в базарные дни, когда крестьяне, столпившись вокруг него, гоняли бильярдные шары, фехтовали киями, курили, пили, пели, орали.

– Как поживаешь? – спрашивали они, хлопая Ипполита по плечу. – Э, видно, не очень-то хорошо! Что же, сам виноват. Надо было сделать то-то и то-то...

И рассказывали, как другие люди отлично вылечивались иными средствами; а потом прибавляли в утешение:

– Ты просто слишком много возишься с собой! Ну, вставай, что ли! Развалился тут, как король! Ах, старый плут, не больно-то сладко от тебя пахнет!

В самом деле, гангрена поднималась все выше и выше. Бовари чуть сам не заболел от этого. Он прибегал каждый час, каждую минуту, Ипполит глядел на него полными ужаса глазами, всхлипывал и бормотал:

– Когда же я буду здоров?.. Ах, спасите меня!.. Какой я несчастный! Какой несчастный!

И врач уходил, рекомендуя строго придерживаться диеты.

– Ты его не слушай, паренек, – говорила тетушка Лефрансуа, – мало они тебя и так мучили? Только еще больше ослабнешь. На-ко вот, скушай!

И подносила тарелочку хорошего бульону, добрый ломтик жаркого, кусочек сала, а иногда и рюмочку водки; но больной не решался к ней прикоснуться.

Узнав, что ему делается все хуже, его захотел повидать аббат Бурнисьен. Он начал с того, что выразил сочувствие страданиям Ипполита, но тут же заявил, что этому надо радоваться, ибо такова воля господя; следует только немедленно воспользоваться удобным случаем и примириться с небом.

– Ведь ты немного пренебрегал своими обязанностями, – отеческим голосом говорил священник. – Ты редко бывал на божественной службе; сколько уж лет ты не подходил к святому алтарю? Я понимаю, твои занятия, мирская суeta отвлекали тебя от забот о спасении души. Но сейчас пора тебе одуматься. Ты все же не отчаивайся: я знавал великих грешников, которые, готовясь явиться перед господом (знаю, знаю, тебе еще до этого далеко!), смиренно обращались к его милосердию и, конечно, умирали в наилучшем душевном расположении. Будем же надеяться, что и ты, подобно им, подашь добрый пример! Кто мешает тебе для большей верности каждое утро и вечер читать «Богородице дево, радуйся» и «Отче наш, иже еси на небеси»? Да, да, займись этим! Сделай это хоть для меня, для моего удовольствия. Что тебе стоит!.. Так ты обещаешь?

Бедняга обещал. Кюре зачастил к нему каждый день. Он болтал с трактирщицей и даже рассказывал всякие анекдоты, отпускал шутки и каламбуры, которых Ипполит не понимал. А потом пользовался первым же случаем и, придав лицу соответствующее выражение, заводил разговоры на религиозные темы.

Усердие его принесло свои плоды: очень скоро стрефопод выразил желание сходить на богомолье в Бон-Секур, если будет здоров; г-н Бурнисьен заявил, что считает это совсем не лишним: лучше два средства, чем одно. *Ведь никакого риска нет.*

Аптекарь вознегодовал против этих, как он выражался, *поповских штучек*. По его словам, они мешали выздоровлению Ипполита, и он то и дело повторял г-же Лефрансуа:

– Оставьте его! Оставьте! Своим мистицизмом вы подрываете его моральное состояние.

Но добрая женщина не хотела и слушать Омэ. Ведь от него все и *пошло*. Из духа противоречия она даже повесила у больного в головах чашу святой воды с веткой букса.

А между тем религия помогала Ипполиту не больше хирургии, и неумолимое воспаление поднималось все выше, к животу. Сколько ни придумывали новых лекарств, как ни меняли припарки, но разложение мускулов со дня на день шло вперед, и, наконец, Шарль был вынужден ответить г-же Лефрансуа утвердительным кивком, когда она спросила его, нельзя ли ей в такой крайности выписать из Нефшателя тамошнюю знаменитость, г-на Каниве.

Пятидесятилетний доктор медицины, обладавший прекрасным положением и большой уверенностью в себе, не постеснялся презрительно рассмеяться при виде ноги, до самого колена пораженной гангреной. Потом он решительно заявил, что придется сделать ампутацию, и пришел в аптеку, где и стал всячески поносить тех ослов, которые могли довести несчастного малого до такого состояния. Дергая г-на Омэ за пуговицу сюртука, он разглагольствовал на весь дом:

– Вот они, парижские изобретения! Вот вам идеи этих столичных господ! Это то же самое, что лечить косоглазие, возиться с хлороформом или удалять камни из печени: все это чудовищные нелепости, правительство должно бы просто запретить их! Но нет, эти господа непременно хотят быть умниками, они только и делают, что пичкают больного лекарствами, а сами и не думают, что из этого выйдет. Мы, конечно, не такие чудотворцы, мы не ученые, не франтики, не болтунишки; мы – практики, наше дело – лечить; мы не вздумаем оперировать человека, когда он здоров, как бык! Выправлять искривление стопы! Да разве искривленную стопу можно выправить? Это все равно, как если бы вы захотели распрямить горбатого!

Омэ нелегко было слушать эти речи, но он прятал свое смущение за низкопоклонной улыбкой: рецепты г-на Каниве доходили иногда и до Ионвиля, так что с ним приходилось быть любезным; итак, фармацевт не выступил на защиту Бовари, не сделал даже ни малейшего замечания, но, отступившись от принципов, пожертвовал своим достоинством ради более существенных деловых интересов.

Ампутация, произведенная доктором Каниве, была чрезвычайным событием в жизни города. В тот день все жители встали до зари, и на Большой улице, хотя она и была переполнена народом, царила мрачная тишина, словно готовилась смертная казнь. В бакалейной лавке только и говорили, что о болезни Ипполита; у торговцев остановились все дела, а жена мэра, г-жа Тюваш, не отрывалась от окошка: ей не терпелось увидеть, как приедет хирург.

Наконец он появился в своем кабриолете, сам держа вожжи. Правая рессора так давно выдерживала вес его грузного тела, что под конец совсем ослабла; экипаж всегда двигался в наклонном положении, и на подушке, рядом с врачом, был виден большой ящик, обтянутый красным сафьяном, с тремя внушительно блестящими медными застегками.

Доктор ворвался, как ураган, под навес «Золотого льва», громогласно распорядился, чтобы распрягли его лошадь, а потом пошел на конюшню поглядеть, с аппетитом ли она ест овес; приезжая к больному, он всегда начинал с забот о своей кобыле и кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Ах, господин Каниве – такой оригинал!» За столь непоколебимый апломб его только еще больше уважали. Он не изменил бы ни малейшей из своих привычек, если бы даже вымерла вся вселенная до последнего человека.

Явился Омэ.

– Я рассчитываю на вас, – заявил доктор. – Ну, мы готовы? Идем!

Но аптекарь, краснея, сознался, что он слишком чувствителен, чтобы присутствовать при подобной операции.

– Когда остаешься простым зрителем, – говорил он, – то это, знаете ли, слишком поражает воображение. И к тому же нервная система у меня так...

– Ну, вот еще! – перебил Каниве. – По-моему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, все это меня не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно торчите в своей кухне, так

что у вас в конце концов и характер меняется. Поглядели бы вы на меня: каждый день встаю в четыре часа утра; когда бреюсь, употребляю холодную воду (мне никогда не бывает холодно!), никаких фуфаяк не ношу, простуды не знаю, – хорошо работает машина! Живу то так, то сяк, по-философски, ем что бог пошлет. Потому-то я и не такой неженка, как вы. Мне разрезать честного христианина – все равно что жареную утку. Вот и говорите после этого, привычка... Все привычка!..

И тут, нисколько не щадя Ипполита, который со страху весь вспотел под своей простыней, господу завели длинную беседу. Аптекарь сравнивал хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца; такое сопоставление было очень приятно Каниве, и он разговорился о трудностях своего искусства. Он считал его настоящим священнослужением, хотя оно и бесчестилось лекарями. Вспомнив, наконец, о больном, он осмотрел принесенные Омэ бинты – те самые, которые фигурировали при первой операции, – и попросил дать ему какого-нибудь человека, который подержал бы ногу пациента. Послали за Лестибудуа, и г-н Каниве, засучив рукава, перешел в бильярдную залу, а аптекарь остался с Артемизой и трактирщицей; обе были бледны, блее своих передников, и всё прислушивались у дверей.

А между тем Бовари не смел высунуть нос из своего дома. Он сидел внизу, в зале, у камина без огня, и, низко понутив голову, сжав руки, глядел в одну точку. «Какой ужасный случай! – думал он. – Какое разочарование! Но ведь он принял все мыслимые предосторожности!.. Тут явно замешался рок. Но все равно! Если теперь Ипполит умрет, то убийцей будет он. А что отвечать больным, когда они станут задавать вопросы во время визитов?.. Но, может быть, он все-таки допустил ошибку? – Он припоминал и не мог найти. – Да ведь ошибаться случалось и самым знаменитым хирургам! Ах, об этом никто и подумать не захочет! Все будут только смеяться да чесать языки! Начнут болтать повсюду – до самого Форжа! До Нефшателя! До Руана! Всюду и везде! Кто знает, не нападут ли на него еще врачи? Начнется полемика, надо будет писать ответные статьи в газетах. Ипполит даже может вчинить иск». Шарль видел перед собой бесчестье, разорение, гибель. Фантазия его, осаждаемая множеством предположений, бросалась из стороны в сторону, как пустая бочка по морским волнам.

Эмма сидела напротив и глядела на Шарля; она нисколько не сочувствовала ему; она сама испытывала еще большее унижение: как могла она вообразить, будто этот человек на что-то способен, – ведь и раньше она не раз убеждалась в его ничтожестве!

Шарль ходил по комнате. Сапоги его скрипели на паркете.

– Сядь, – сказала Эмма. – Ты меня раздражаешь.

Он снова уселся в кресло.

Как могла она (она, такая умная!) еще раз ошибиться? Что это, наконец, за жалкая мания – уродовать свою жизнь постоянными жертвами? И Эмма вспоминала всю свою жажду роскоши, все свои сердечные лишения, убожество своего брака, своей семейной жизни, свои мечты, упавшие в грязь, как раненые ласточки, все, чего ей хотелось, все, в чем она себе отказала, все, чем она могла бы обладать! И ради чего? Ради чего?

Душераздирающий крик прорезал воздух в мертвой тишине городка. Бовари побледнел и чуть не потерял сознание. Эмма нервно сдвинула брови и продолжала размышлять. Все ради него, ради этого существа, ради этого человека, который ничего не понимает, ничего не чувствует! Вот он стоит – он совершенно спокоен, ему и в голову не приходит, что, опозорив свое имя, он запятнал ее так же, как и себя. А она еще пыталась любить его, она со слезами каялась, что отдалась другому!

– Но ведь это, может быть, был валгус! – воскликнул вдруг Бовари: он не переставал думать.

Слова его ударили по мыслям Эммы, как свинцовый шар по серебряному блюду, – она вздрогнула от этого неожиданного толчка и подняла голову, пытаясь догадаться, что хотел сказать муж; долго глядели они молча, почти удивляясь, что видят друг друга, – так далеко

разошлись их мысли. Шарль смотрел на жену мутными, пьяными глазами и в то же время напряженно слушал последние вопли оперируемого, – они неслись тягучими переливами, то и дело прерываясь резким вскриком; казалось, что вдали режут какое-то животное. Эмма кусала бледные губы и, вертя в пальцах отломанный ею отросток полипа, не спускала с Шарля взгляда своих горящих зрачков, подобных двум огненным стрелам. Теперь он раздражал ее всем – лицом, костюмом, тем, чего он не говорил, всей своей личностью, всем своим существованием. Она, словно в преступлении, раскаивалась в своей бывшей добродетели, последние остатки которой рушились сейчас под яростными ударами самолюбия. Она наслаждалась всем злорадством торжествующей измены. Она вспоминала любовника, и Родольф представлялся ей пленительным до головокружения; душа ее рвалась к нему, вновь восторгаясь его образом; а Шарль казался ей столь же оторванным от ее жизни, столь же далеким и навсегда, безвозвратно уходящим в небытие, как если бы он сейчас умирал у нее на глазах.

На улице послышались шаги. Шарль заглянул в окошко; сквозь щелки спущенных жалюзи он увидел около рынка, на самом солнцепеке, доктора Каниве, вытирающего лоб платком. За ним следовал Омэ с большим красным ящиком в руках; оба направлялись к аптеке.

Отчаяние и нежность внезапно охватили Шарля, и, повернувшись к жене, он сказал:

– Обними меня, дорогая!

– Оставь! – ответила она, вся покраснев от гнева.

– Что с тобой? Что с тобой? – изумленно повторял он. – Успокойся! Приди в себя!.. Ведь ты знаешь, что я тебя люблю!.. Пойди сюда!

– Довольно! – страшным голосом крикнула Эмма.

И, выбежав из комнаты, так захлопнула за собой дверь, что барометр упал со стены и разбился.

Шарль повалился в кресло, потрясенный, сбитый с толку; он не мог понять, что с ней случилось, воображал какую-то нервную болезнь, плакал – и смутно чувствовал, как вокруг него витает что-то мрачное и непонятное.

Когда вечером в сад пришел Родольф, возлюбленная ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, и в жарком поцелуе вся их досада растаяла, как снежный ком.

ХП

Они снова полюбили друг друга. Часто Эмма среди бела дня вдруг писала ему записку, а затем делала знак Жюстену; тот видел ее в окне и, живо сбросив передник, мчался в Лаяшетт. Родольф приходил: оказывалось, она вызывала его для того, чтобы сказать, что она тоскует, что муж ее отвратителен, а жизнь ужасна!

– Чем же я-то могу помочь? – нетерпеливо воскликнул однажды любовник.

– Ах, если бы ты только захотел!..

Она сидела у его ног; волосы ее были распущены, взгляд блуждал.

– Что же? – спросил Родольф.

Эмма вздохнула.

– Мы бы уехали... куда-нибудь...

– Право, ты с ума сошла! – ответил он со смехом. – Разве это возможно?

Позже Эмма еще раз вернулась к этой теме; он притворился, будто не понимает, и переменил разговор.

Он положительно не понимал той путаницы, которую она вносила в такое простое чувство, как любовь. У нее были какие-то особые мотивы, какие-то соображения, как бы поддерживавшие ее привязанность.

В самом деле, от отвращения к мужу нежность к любовнику росла со дня на день. Чем полнее она отдавалась одному, тем больше ненавидела другого; никогда Шарль не казался ей

таким противным, пальцы его такими толстыми, рассуждения такими тяжеловесными, манеры такими вульгарными, как после свиданий с Родольфом, когда ей удавалось побыть с ним наедине. Не переставая разыгрывать добродетельную супругу, она вся пылала при одной мысли об этой голове с вьющимися черными волосами над загорелым лбом, об этом столь крепком и столь изящном стане, обо всем этом человеке, обладавшем такой рассудительностью, такой пылкостью желаний! Ради него она отделяла ногти с терпеливостью ювелира, ради него не щадила ни кольдкрема для своей кожи, ни пачулей для платков. Она украшала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Когда собирался прийти Родольф, она ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала квартиру и наряжалась, словно куртизанка, ждущая принца. Служанке приходилось без отдыха стирать белье; весь день она не выходила из кухни, и Жюстен, который вообще часто бывал в ее обществе, глядел, как она работает.

Опершись руками на длинную гладильную доску, он жадно рассматривал разбросанные кругом женские вещи: канифасовые юбки, косынки, воротнички, сборчатые панталоны на тесемках, широкие в бедрах и суживающиеся книзу.

– А это для чего? – спрашивал он, показывая на кринолин или какую-нибудь застёжку.

– А ты разве никогда не видал? – со смехом отвечала Фелиситэ. – Уж будто бы твоя хозяйка, госпожа Омэ, не такие же вещи носит!

– Ну да! Госпожа Омэ!

И подросток задумчиво добавлял:

– Разве это такая дама, как твоя барыня...

Но Фелиситэ сердилась, что он все вертится подле нее. Она была старше на целых шесть лет, за нею уже начинал ухаживать слуга г-на Гильомена, Теодор.

– Оставь меня в покое! – говорила она, переставляя горшочек с крахмалом. – Ступай-ка лучше толочь миндаль. Вечно ты трешься около женщин; ты бы, скверный мальчишка, подождал хоть, пока у тебя пух на подбородке появится!

– Ну не сердитесь, я за вас *начищу* ее ботинки.

Он брал с подоконника эммин башмачок, весь покрытый засохшей грязью, грязью свиданий; под его пальцами она рассыпалась в пыль, и он глядел, как эта пыль медленно поднималась в солнечном луче.

– Как ты боишься их испортить! – говорила кухарка.

Сама она была далеко не так осторожна при чистке: как только кожа теряла свежесть, барыня сейчас же отдавала ей поношенную пару.

У Эммы был в шкафу целый запас обуви, и она постепенно расточала его, а Шарль никогда не позволял себе по этому поводу ни малейшего замечания.

Совершенно так же безропотно он потратил триста франков на искусственную ногу, которую Эмма нашла нужным подарить Ипполиту. Протез был весь пробковый, с пружинными суставами, – целый сложный механизм, вставленный в черную штанину и в лакированный сапог. Но Ипполит, не решаясь постоянно пользоваться такой прекрасной ногой, выпросил у г-жи Бовари другую, попроще.

Врач, разумеется, оплатил и эту покупку.

И вот, конюх мало-помалу снова вернулся к своим занятиям. Как и прежде, он бегал по всей деревне, и, слышав издали сухой стук его костыля по мостовой, Шарль тотчас сворачивал в сторону.

Все заказы возлагались на торговца Лере; это давало ему возможность часто видеть Эмму. Он рассказывал ей о новых парижских товарах, о всяких интересных для женщин вещах, был очень услужлив и никогда не требовал денег. Эмма поддавалась на такой легкий способ удовлетворять все свои капризы. Так однажды ей захотелось подарить Родольфу очень красивый хлыст, который она увидела в одном руанском магазине. Спустя неделю г-н Лере положил его ей на стол.

Но на другой день он явился со счетом на двести семьдесят франков с сантимами. Эмма очень смутилась: в письменном столе ничего не было; Лестибудуа задолжали больше, чем за полмесяца, а служанке за полгода; имелось и еще много долгов, так что Шарль с нетерпением ждал, когда ему придет деньги г-н Дерозерэ, который ежегодно расплачивался с ним к Петрову дню.

Сначала Эмме несколько раз удавалось выпроводить Лере; но, наконец, лавочник потерял терпение: его самого преследуют кредиторы, деньги у него все в обороте, и если он не получит хоть сколько-нибудь, то ему придется взять обратно все проданные вещи.

– Ну и берите! – сказала Эмма.

– О нет, я пошутил! – отвечал он. – Мне только жаль хлыстика. Честное слово, я попрошу его у вашего супруга.

– Нет, нет! – проговорила она.

«Ага, поймал я тебя!» – подумал Лере.

И, уверившись в своем открытии, вышел, повторяя вполголоса, с обычным своим пристычиванием:

– Отлично! Посмотрим, посмотрим!

Эмма раздумывала, как бы ей выпутаться, как вдруг вошла служанка и положила ей на камин сверточек в синей бумаге *от г-на Дерозерэ*. Барыня бросилась к нему, развернула. Там было пятнадцать наполеондоров. Больше чем надо! На лестнице раздались шаги Шарля; Эмма бросила золото в ящик стола и вынула ключ.

Через три дня Лере снова явился.

– Я хочу предложить вам одну сделку, – сказал он. – Если бы вместо следуемой мне суммы вы согласились...

– Вот вам, – ответила она, кладя ему в руку четырнадцать золотых.

Торгаш был поражен. Чтобы скрыть досаду, он рассыпался в извинениях, стал предлагать свои услуги, но Эмма на все отвечала отказом; несколько секунд она ощупывала в кармане передника две пятифранковых монеты – сдачу, полученную в лавке. Она клялась себе, что теперь будет экономить, чтобы позже вернуть...

«Э, – подумала она наконец, – он о них и не вспомнит».

Кроме хлыста с золоченым набалдашником, Родольф получил печатку с девизом «*Amor nel cor*»,⁸ красивый шарф и, наконец, портсигар, совершенно похожий на портсигар виконта, когда-то найденный Шарлем на дороге, – он еще хранился у Эммы. Но все эти подарки Родольф считал для себя унижительными. От многих он отказывался; Эмма настаивала, и в конце концов он покорился, находя ее чересчур деспотичной и настойчивой.

Потом у нее начались какие-то странные фантазии.

– Думай обо мне, – говорила она, – когда будет бить полночь!

И если Родольф признавался, что не думал о ней, начинались бесконечные упреки. Кончались они всегда одним и тем же.

– Ты любишь меня?

– Ну да, люблю! – отвечал он.

– Очень?

– Разумеется!

– А других ты не любил?

– Ты что же думаешь, девственником я тебе достался? – со смехом восклицал Родольф.

Эмма плакала, а он силился утешить ее, перемежая уверения каламбурами.

⁸ Любовь в сердце (*итал.*).

– Ах, но ведь я тебя люблю! – говорила она. – Так люблю, что не могу без тебя жить, понимаешь? Иногда я так хочу тебя видеть, что сердце мое разрывается от любовной ярости. Я думаю: «Где-то он? Может быть, он говорит с другими женщинами? Они ему улыбаются, он подходит к ним...» О нет, ведь тебе больше никто не нравится? Другая, может быть, красивее меня; но любить, как я, не может никто! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой король, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный!

Все эти речи Родольф слышал столько раз, что в них для него не было ничего оригинального. Эмма стала такою же, как все любовницы, и очарование новизны, спадая понемногу, словно одежда, оставляло неприкрытым вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы, один и тот же язык. Он, этот практический человек, не умел за сходством слов разглядеть различные чувства. Он слышал подобные же слова из уст развратных или продажных женщин и потому мало верил в чистоту Эммы. «Если отбросить все эти преувеличенные выражения, – думал он, – останутся посредственные влечения». Как будто истинная полнота души не изливается порой в самых пустых метафорах! Ведь никто никогда не может выразить точно ни своих потребностей, ни понятий, ни горестей, ведь человеческая речь подобна надтреснутому котлу, и мы выстукиваем на нем медвежьих пляски, когда нам хотелось бы растрогать своей музыкой звезды.

Но вместе с преимуществом критического отношения, которое всегда остается на стороне того, кто меньше увлечен, Родольф нашел в любви Эммы и иные наслаждения. Всякий стыд он отбросил, как нечто ненужное. Он без стеснения третировал Эмму. Он сделал ее существом податливым и испорченным. В ней жила какая-то нелепая привязанность, полная преклонения перед ним и чувственных наслаждений для себя самой; женщина цепенела в блаженстве, и душа ее погружалась в это опьянение, тонула в нем, съезживаясь в комочек, словно герцог Кларенс в бочке мальвазии.

Любовный опыт оказал действие на г-жу Бовари, – все ее манеры изменились. Взгляд ее стал смелее, речи свободнее; она даже не стыдилась, гуляя с Родольфом, курить папиросу, *словно нарочно издеваясь над людьми*; когда, наконец, она однажды вышла из «Ласточки», затянутая по-мужски в жилет, то все, кто еще сомневался, перестали сомневаться. Г-жа Бовари-мать, снова сбежавшая к сыну после отчаянной сцены с мужем, была скандализирована не меньше ионвильских обывательниц. Ей не нравилось и многое другое: прежде всего Шарль перестал слушать ее советы о вреде чтения романов; кроме того, ей не нравился весь *тон дома*; она позволяла себе делать замечания, и начинались ссоры. Особенно ожесточенной была стычка из-за Фелиситэ.

Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по коридору, застала ее с мужчиной, – мужчиной лет сорока, в темных бакенбардах; заслышав шаги, он тотчас выскочил из кухни. Эмма только рассмеялась, но старуха вышла из себя и заявила, что кто не следит за нравственностью слуг, тот сам пренебрегает нравственностью.

– Где вы воспитывались? – сказала невестка с таким дерзким видом, что г-жа Бовари-старшая спросила ее, уж не за себя ли самое она вступилась.

– Вон отсюда! – крикнула молодая г-жа Бовари и вскочила с места.

– Эмма!.. Мама!.. – кричал Шарль, пытаясь примирить их.

Но обе тотчас же убежали в негодовании. Эмма топала ногами и повторяла:

– Какие манеры! Какая мужичка!

Шарль побежал к матери; та была вне себя и только твердила:

– Что за наглость! Что за легкомыслие! А может быть, и хуже!..

Если Эмма не извинится, она немедленно уедет. Тогда Шарль побежал умолять жену; он стал перед ней на колени.

– Хорошо, пусть так, – сказала она наконец.

В самом деле, Эмма с достоинством маркизы протянула свекрови руку и сказала:

– Извините меня, сударыня.

А потом поднялась к себе, бросилась ничком на кровать, зарылась лицом в подушки и разрыдалась, как ребенок.

У нее было условлено с Родольфом, что в случае какого-нибудь исключительного события она привяжет к оконной занавеске клочок белой бумаги; если он в это время окажется в Ионвиле, то увидит и поспешит в переулок, что позади дома. Эмма подала сигнал. Подождя три четверти часа, она вдруг увидела на углу рынка Родольфа. Она чуть не открыла окно, чуть не позвала его; однако он исчез. Эмма снова впала в отчаяние.

Но скоро ей послышались в переулке шаги. То был, конечно, он; она сбежала по лестнице, пересекла двор. Родольф был там, за стеной. Эмма бросилась в его объятия.

– Будь же осторожнее! – сказал он.

– Ах, если бы ты знал! – ответила она.

И стала рассказывать ему все, рассказывать торопливо, беспорядочно, преувеличивая, многое выдумывая, прерывая себя такими бесчисленными вставками, что он просто ничего не мог понять.

– Крепись, ангел мой! Успокойся, потерпи!

– Я терплю и страдаю вот уж четыре года!.. Такая любовь, как наша, должна быть открытой перед лицом неба! Они только и делают, что мучают меня. Я больше не могу! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Глаза ее, полные слез, блестели, точно огонь под водою; грудь высоко поднималась от прерывистых вздохов. Никогда еще не любил он ее так сильно; наконец он потерял голову и сказал ей:

– Что же делать! Чего ты хочешь?

– Увези меня! – воскликнула она, – похити меня!.. О, умоляю!

И она тянулась губами к его губам, словно ловила в поцелуе невольное согласие.

– Но... – заговорил Родольф.

– Что такое?

– А твоя дочь?

Эмма немного подумала и ответила:

– Делать нечего. Возьмем ее с собой!

«Что за женщина!» – подумал он, глядя ей вслед.

Она убежала в сад: ее звали.

Следующие дни старуха Бовари все время удивлялась метаморфозе, происшедшей в невестке. В самом деле, Эмма стала гораздо податливее и даже простерла свою почтительность до того, что попросила у старухи рецепт для маринования огурцов.

Делалось ли это с целью лучше обмануть мужа и свекровь? Или же она предавалась своего рода сладострастному стоицизму, чтобы глубже почувствовать всю горечь покидаемой жизни? Но об этом она не заботилась; наоборот, она вся утопала в предвкушении близкого счастья. Оно было постоянной темой ее разговора с Родольфом. Склоняясь к его плечу, она шептала:

– Ах, когда мы будем в почтовой карете! Ты представляешь себе? Неужели это возможно? Мне кажется, что как только экипаж тронется, для меня это будет, словно мы поднялись на воздушном шаре, словно мы унеслись к облакам. Знаешь, я считаю дни... А ты?

Никогда г-жа Бовари не была так хороша, как в ту пору. Она обрела ту неопределимую красоту, которую порождает радость, воодушевление и успех, полное соответствие между темпераментом и внешними обстоятельствами. Как цветы растут благодаря дождям и навозу, ветрам и солнцу, так и она всю жизнь постепенно вырастала благодаря желаниям и горестям, опыту наслаждений и вечно юным иллюзиям, а теперь, наконец, распустилась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз казался созданным для долгих любовных взглядов, когда в тени ресниц теряются зрачки; от глубокого дыхания раздувались ее тонкие ноздри и резче обозначались уголки мясистых губ, при ярком свете затененные черным пушком. Локоны ее лежали

на затылке так, словно их укладывал искусной рукой опытный соблазнитель-художник; они небрежно, тяжело спадали, покорные всем прихотям преступной любви, ежедневно их распускавшей. Голос и движения Эммы стали мягче и гибче. Что-то тонкое, пронизывающее исходило даже от складок ее платья, от подъема ее ноги. Для Шарля она была прелестна и неотразима, как в первые дни брака.

Возвращаясь поздно ночью, он не смел ее будить. Фарфоровый ночник отбрасывал на потолок дрожащий световой круг; спущенный полог колыбельки, словно белая палатка, вздувался в тени рядом с кроватью. Шарль глядел на жену и ребенка. Ему казалось, что он слышит легкое дыхание девочки. Скоро она вырастет; она будет развиваться с каждым месяцем. Он въявь видел, как она возвращается к вечеру из школы: смеется, блуза в чернилах, на руке корзиночка; потом придется отдать ее в пансион, – это обойдется недешево. Как быть? И тут он задумывался. Он предполагал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму и самому приглядывать за ней каждое утро по дороге к больным. Доход от хозяйства он будет копить, класть в сберегательную кассу; потом где-нибудь – все равно где! – купит акции; к тому же и пациентов станет больше; на это он рассчитывал, – ведь хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее обнаружились всякие таланты, чтобы она выучилась играть на фортепиано. Ах, какая она будет красивая позже, лет в пятнадцать! Она будет похожа на мать и летом станет, как Эмма, ходить в соломенной шляпке! Издали их будут принимать за двух сестер... Шарль воображал, как по вечерам она работает при лампе, сидя рядом с ним и матерью. Она вышьет ему туфли; она займется хозяйством, и весь дом будет сиять ее милостью и весельем. Наконец придется подумать и о замужестве: подыщут ей какого-нибудь хорошего малого с солидным состоянием; он даст ей счастье, и это будет навеки...

Эмма не спала, она только притворялась спящей. И в то время как Шарль, лежа рядом с нею, погружался в дремоту, она пробуждалась для иных мечтаний.

Вот уже неделя, как четверка лошадей галопом мчит ее в неведомую страну, откуда она никогда не вернется. Они едут, едут, сплетаясь руками, не произнося ни слова. Часто с вершины горы они видят под собою какие-то чудесные города с куполами, мостами, кораблями и лимонными рощами, с беломраморными соборами, с остроконечными колокольнями, где свили себе гнезда аисты. Они с Родольфом едут шагом по неровной каменистой дороге, и женщины в красных корсажах продают им цветы. Слышен звон колоколов и ржанье мулов, рокот гитар и журчанье фонтанов, водяная пыль разлетается от них по сторонам, освежая груди фруктов, сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь струи. А вечером они приезжают в рыбачью деревушку, где вдоль утесов и хижин сушатся на ветру бурые сети. Там они остановятся и будут жить; они поселятся в низеньком домике с плоской кровлей под пальмой, в глубине залива, на берегу моря. Будут кататься в гондоле, качаться в гамаке, все их существование будет легким и свободным, как их шелковые одежды, будет согревать и сверкать, как теплые звездные ночи, которыми они будут любоваться. В этом безграничном будущем, встававшем перед Эммой, не выделялось ничто; все дни были одинаково великолепны, как волны; бесконечные, гармонические, голубые, залитые солнцем, они тихо колыхались на горизонте. Но тут кашлял в колыбели ребенок или громче обычного всхрапывал Бовари, и Эмма засыпала только под утро, когда окна белели от рассвета и на площади Жюстен уже открывал ставни аптеки.

Она вызвала г-на Лере и сказала ему:

– Мне нужен плащ – длинный плащ на подкладке, с большим воротником.

– Вы уезжаете? – спросил он.

– Нет, но... Все равно, я на вас рассчитываю. Да поскорее!

Он поклонился.

– Еще мне нужен, – продолжала она, – чемодан... Не слишком тяжелый... удобный.

– Да, да, понимаю, – примерно пятьдесят на девяносто два сантиметра, как теперь делают.

– И спальный мешок.

«Здесь положительно что-то нечисто», – подумал Лере.

– Вот что, – сказала г-жа Бовари, вынимая из-за пояса часики. – Возьмите их в уплату.

Но купец воскликнул, что это совершенно лишнее; ведь они друг друга знают; неужели он может в ней сомневаться? Какое ребячество! Однако она настояла, чтобы он взял хоть цепочку. Лере положил ее в карман и уже выходил, когда Эмма снова позвала его.

– Все вещи вы будете держать у себя. А плащ – она как будто задумалась – тоже не приносите; вы только скажите мне адрес портного и велите ему, чтобы его хранили, пока я не потребую.

Бежать предполагалось в следующем месяце. Эмма должна была уехать из Ионвиля в Руан будто бы за покупками. Родольф купит почтовые места, достанет документы и даже письмом в Париж закажет карету до Марселя, где они приобретут коляску и, не останавливаясь, отправятся по Генуэзской дороге. Эмма заранее отошлет к Лере свой багаж, и его отнесут прямо в «Ласточку», так что никто ничего не заподозрит; о девочке не было и речи. Родольф старался о ней не говорить; Эмма, может быть, и не думала.

Родольф попросил две недели отсрочки, чтобы успеть покончить с какими-то распоряжениями; потом, спустя неделю, попросил еще две; потом сказался больным: вслед за тем поехал по делам. Так прошел август, и после всех этих задержек был бесповоротно назначен срок: понедельник, 4 сентября.

Наконец наступила суббота, канун кануна.

Вечером Родольф пришел раньше обычного.

– Все готово? – спросила она.

– Да.

Тогда любовники обошли кругом грядку и уселись на закраине стены около террасы.

– Тебе грустно? – сказала Эмма.

– Нет, почему же?

А между тем он смотрел на нее каким-то особенным, нежным взглядом.

– Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со своими привычками, с прежней жизнью? – снова заговорила Эмма. – Ах, я тебя понимаю... А вот у меня ничего нет на свете! Ты для меня – все. И я тоже буду для тебя всем, – я буду твоей семьей, твоей родиной; я буду заботиться о тебе, любить тебя.

– Как ты прелестна! – сказал он и порывисто обнял ее.

– Право? – с блаженным смехом произнесла она. – Ты меня любишь? Поклянись!

– Люблю ли я тебя? Люблю ли? Я обожаю тебя, любовь моя!

За лугом, на самом горизонте, вставала круглая багровая луна. Она быстро поднималась, и ветви тополей местами прикрывали ее, словно рваный черный занавес. Потом она появилась выше, ослепительно белая, и осветила пустынное небо; движение ее замедлилось, она отразилась в реке огромным световым пятном и рассыпалась в ней бесчисленными звездами. Этот серебряный огонь, казалось, извивался в воде, опускаясь до самого дна, – точно безголовая змея, вся в сверкающих чешуйках. И еще было это похоже на гигантский канделябр, по которому сверху донизу стекали капли жидкого алмаза. Теплая ночь простиралась вокруг любовников, окутывая листву покрывалом тени.

Эмма, полузакрыв глаза, глубоко вдыхала свежий ветерок. Оба молчали, теряясь в нахлынувших грезах. В томном благоухании жасминов подступала к сердцу обильная и молчаливая, как протекавшая внизу река, нежность былых дней, в памяти вставали еще более широкие и меланхолические тени, подобные тянувшимся по траве теням недвижных ив. Порой шуршал листом, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек – еж или ласочка, да время от времени шумно падал на траву зрелый персик.

– Ах, какая прекрасная ночь! – сказал Родольф.

– Такие ли еще будут! – сказала Эмма.

Она говорила словно про себя:

– Да, хорошо будет ехать... Но почему же у меня грустно на душе?.. Что это? Страх перед неведомым? Печаль по привычной жизни? Или же... Нет, от счастья, слишком большого счастья! Какая я слабая – правда? Прости меня!

– Еще есть время! – воскликнул он. – Подумай, ты, может быть, потом раскаешься.

– Никогда! – пылко отвечала она. И, прильнув к нему, говорила: – Что плохого может со мной случиться? Нет той пустыни, нет той пропасти, того океана, которые я не преодолела бы с тобой. Наша жизнь будет единым объятием, и с каждым днем оно будет все крепче, все полнее. Ничто не смутит нас – никакие заботы, никакие препятствия! Мы будем одни, друг с другом, вечно вдвоем... Говори же, отвечай!

Он машинально отвечал:

– Да, да!..

Эмма погрузила пальцы в его волосы, крупные слезы катились из ее глаз, она по-детски повторяла:

– Родольф, Родольф!.. Ах, Родольф, милый мой Родольф!

Пробила полночь.

– Полночь! – сказала Эмма. – Значит – завтра! Еще один день!

Он встал, собираясь уйти; и, словно это движение было сигналом к бегству, Эмма вдруг повеселела:

– Паспорта у тебя?

– Да.

– Ничего не забыл?

– Ничего.

– Ты уверен?

– Конечно.

– Итак, ты ждешь меня в отеле «Прованс»?.. В двенадцать дня?

Он кивнул.

– Ну, до завтра!

И долго глядела ему вслед.

Он не оборачивался. Она побежала за ним и, наклонившись над водой, крикнула сквозь кусты:

– До завтра!

Он был уже за рекой и быстро шагнул по лугу.

Через несколько минут Родольф остановился; и когда он увидел, как она в своей белой одежде, словно привидение, медленно исчезала в тени, у него так забилося сердце, что он чуть не упал и схватился за дерево.

– Какой я дурак! – сказал он и отчаянно выругался. – Нет, она была прелестной любовницей!

И тотчас перед ним встала вся красота Эммы, все радости этой любви. Сначала он разнежился, потом взбунтовался против нее.

– Не могу же я, наконец, – воскликнул он, жестикулируя, – не могу же я эмигрировать, ввалить на себя ребенка!

Он говорил так, чтобы укрепиться в своем решении.

– Возня, расходы... Ах, нет, нет, тысячу раз нет! Это было бы слишком нелепо!

XIII

Едва вернувшись домой, Родольф бросился к письменному столу, в кресло под висевшей на стене в виде трофея оленьей головой. Но когда он взял в руки перо, все нужные слова исчезли из головы; он облокотился на стол и задумался. Эмма, казалось ему, отодвинулась в далекое прошлое, словно его решение сразу установило между ними огромное расстояние.

Чтобы вспомнить о ней хоть что-нибудь, он вынул из шкафа, стоявшего у изголовья кровати, старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он обычно прятал любовные письма. От нее шел запах влажной пыли и увядших роз. Сверху лежал носовой платок в бледных пятнышках. То был ее платок – он запачкался на прогулке, когда у нее пошла носом кровь. Родольф этого не помнил. Тут же лежала помятая на уголках миниатюра Эммы. Ее туалет показался Родольфу претенциозным, ее взгляд – она делала на портрете *глазки* – самым жалким. Чем дольше разглядывал он этот портрет и вызывал в памяти оригинал, тем больше расплывались в его душе черты Эммы, словно нарисованное и живое лицо терлись друг о друга и смазывались. Наконец он стал читать ее письма. Они были посвящены скорому отъезду, кратки, техничны и настойчивы, как деловые записки. Тогда Родольфу захотелось пересмотреть давнишние длинные послания. Разбирая их на дне коробки, он разбросал все прочее и стал невольно рыться в этой груде бумаг и вещей, натываясь то на букет, то на подвязку, то на черную маску, на булавки, на волосы – волосы темные, светлые; иные цеплялись за металлическую оправу коробки и рвались, когда она открывалась.

Так, блуждая в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, столь же разнообразных, как и их орфография. Тут были нежные и веселые, шуточные и меланхолические; в одних просили любви, в других просили денег. Слова напоминали ему лица, движения, звуки голосов; а иногда он и вовсе ничего не мог вспомнить.

В самом деле, все эти женщины, столпившись сразу в его памяти, не давали друг другу места, мельчали; их словно делал одинаковыми общий уровень любви. И вот, захватив горсть перемешанных писем, Родольф долго забавлялся, пересыпая их из руки в руку. Наконец ему это надоело, он зевнул, отнес коробку в шкаф и сказал про себя: «Какая все это чепуха!..»

Он и в самом деле так думал, ибо наслаждения вытоптали его сердце, как школьники вытаптывают двор коллежа; там не пробивалось ни травинки, а все, что там проходило, было легкомысленнее детей и даже не оставляло, подобно им, вырезанных на стене имен.

– Ну, – произнес он, – приступим!

Он написал:

«Крепитесь, Эмма! Крепитесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни...»

«В конце концов, – подумал Родольф, – это правда: я действую в ее интересах. Это честно».

«Зрело ли вы взвесили свое решение? Знаете ли вы, ангел мой, в какую пропасть я увлек бы вас с собою? Нет, конечно! Доверчивая и безумная, вы шли вперед, веря в счастье, в будущее... О мы, несчастные! О безрассудные!»

Родольф остановился, чтобы найти серьезную отговорку:

«Не написать ли ей, что я потерял состояние?... Нет, нет. Да это и не поможет. Немного позже придется начать все сначала. Разве для таких женщин существует логика?»

Он подумал и продолжал:

«Поверьте мне, я вас не забуду, я навеки сохраню к вам глубочайшую преданность; но ведь рано или поздно наш пыл (такова судьба всего человеческого) все равно угаснет. Мы начнем уставать друг от друга, и, кто

знает, не выпадет ли на мою долю жестокая мука видеть ваше раскаяние и даже самому разделять его, ибо именно я был бы его причиной? Одна мысль о грозящих вам бедствиях уже терзает меня, Эмма! Забудьте меня! О, зачем я вас узнал? Зачем вы так прекрасны? Я ли тому виной? О боже мой! Нет, нет, виновен только рок!»

«Это слово всегда производит эффект», – подумал он.

«Ах, будь вы одною из тех легкомысленных женщин, которых так много, я, конечно, мог бы решиться из эгоизма на эту попытку: тогда она была бы для вас безопасна. Но ведь та самая прелестная восторженность, которая составляет и ваше очарование и причину ваших мучений, – она и мешает вам, о изумительная женщина, понять ложность нашего будущего положения! Я тоже сначала об этом не подумал и, не предвидя последствий, отдыхал под сенью нашего идеального счастья, словно в тени мансениллы».

«Как бы она не подумала, что я отказываюсь из скупости... Э, все равно! Пускай, пора кончать!»

«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас повсюду, где б мы ни были. Вам пришлось бы терпеть нескромные расспросы, клевету, презрение, может быть даже оскорбления. Оскорбление вам!.. О!.. ведь я хотел бы видеть вас на троне! Ведь я ношу с собою мысль о вас, как талисман! Ибо за все зло, которое я причинил вам, я наказываю себя изгнанием. Я уезжаю. Куда? Я сам не знаю, я обезумел. Прощайте! Будьте всегда добры ко мне! Сохраните память о несчастном, вас потерявшем. Научите вашего ребенка поминать мое имя в молитвах».

Пламя двух свечей дрожало. Родольф встал, закрыл окно, уселся снова.

«Кажется, все сказано. Ах, да! Надо еще прибавить, а то как бы она не стала опять *приставать*».

«Когда вы прочтете эти грустные строки, я буду далеко; я решился бежать как можно скорее, чтобы удержаться от искушения вновь видеть вас. Не надо слабости! Я еще вернусь, и, быть может, когда-нибудь мы с вами будем очень спокойно беседовать о нашей любви. Прощайте!»

И он написал еще одно последнее прощанье: не *прощайте*, а *простите*: это казалось ему выражением самого лучшего вкуса.

– Но как же теперь подписаться? – говорил он. – «Ваш преданный». Нет, «Ваш друг»?.. Да, это как раз то, что надо.

«Ваш друг».

Он перечел письмо, оно показалось ему удачным.

«Бедняжка, – умилился он. – Она будет считать меня бесчувственным, как скала, надо бы здесь капнуть несколько слезинок, да не умею я плакать; чем же я виноват?»

И, налив в стакан воды, Родольф обмакнул палец и уронил с него на письмо крупную каплю, от которой чернила расплылись бледным пятном; потом он стал искать, чем бы запечатать письмо, и ему попалась печатка «Amor nel cor».

«Не совсем подходит к обстоятельствам... Э, да все равно!»

Затем он выкурил три трубки и лег спать.

Поднявшись на другой день около двух часов, – он проспал, – Родольф велел набрать корзину абрикосов. На дно, под виноградные листья, он положил письмо и тотчас приказал

своему работнику Жирару осторожно передать все это госпоже Бовари. Он часто пользовался этим средством для переписки с нею, присылая, смотря по сезону, то фрукты, то дичь.

– Если она спросит обо мне, – сказал он, – ответишь, что я уехал. Корзинку непременно отдай ей самой, в собственные руки... Ступай, да гляди у меня!

Жирар надел новую блузу, завязал корзину с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, подбитых гвоздями сапогах, спокойно двинулся в Ионвиль.

Когда он пришел, г-жа Бовари вместе с Фелиситэ раскладывала на кухонном столе белье.

– Вот, – сказал работник, – хозяин прислал.

Недоброе предчувствие охватило Эмму. Ища в кармане мелочь, она растерянно глядела на крестьянина, а тот остолбенело уставился на нее, не понимая, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Но оставалась Фелиситэ. Эмма не могла совладать с собою. Она побежала в залу, как будто желая отнести туда абрикосы, опрокинула корзинку, выбросила листья, нашла письмо, распечатала его и, словно за ее спиной пылал страшный пожар, в ужасе бегом бросилась в свою комнату.

Там был Шарль, Эмма увидела его; он заговорил с нею, она ничего не слышала и быстро побежала вверх по лестнице, задыхаясь, растерянная и словно пьяная, не выпуская из рук эту страшную бумагу, которая хлопала в ее пальцах, как кусок жести. На третьем этаже она остановилась перед закрытой дверью на чердак.

Ей хотелось успокоиться. Она вспомнила о письме; надо было дочитать его, она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть.

«Ах, нет, – подумала она, – здесь будет хорошо».

Эмма толкнула дверь и вошла.

От шиферной кровли отвесно падал тяжелый жар. Было душно, сжимало виски. Эмма дотаскилась до запертой мансарды, отодвинула засов, и ослепительный свет хлынул ей навстречу.

Перед ней, за крышами, до самого горизонта расстилались поля. Внизу лежала безлюдная городская площадь; искрился булыжник мостовой, неподвижно застыли на домах флюгера; с угла улицы, из нижнего этажа, доносилось какое-то верещанье. Это токарничал Бине.

Эмма прижалась к стенке в амбразуре мансарды и, злобно усмехаясь, стала перечитывать письмо. Но чем напряженнее она вникала в него, тем больше путались ее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала его; сердце билось у нее в груди, как таран, и неровный его стук все ускорялся. Глаза ее блуждали, ей хотелось, чтобы земля провалилась. Почему не покончить со всем этим? Что ее удерживает? Ведь она свободна! И она двинулась вперед, она взглянула на мостовую и произнесла:

– Ну же! Ну!

Сверкающий луч света поднимался снизу и тянул в пропасть всю тяжесть ее тела. Ей казалось, что площадь колеблется, поднимается по стенам, что пол наклоняется в одну сторону, словно палуба корабля в качку. Эмма стояла у самого края, почти свесившись вниз; со всех сторон был необъятный простор. Синевя неба подавляла ее, вихрь кружился в опустелой голове, – надо было только уступить, отдаться; а токарный станок все верещал, словно звал ее сердитым голосом.

– Жена! Жена! – кричал Шарль.

Она остановилась.

– Где ты там? Иди сюда!

При мысли, что она только что избежала смерти, Эмма едва не потеряла от ужаса сознание; она закрыла глаза, потом вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. То была Фелиситэ.

– Барин ждет вас, барыня. Суп на столе.

И пришлось спуститься вниз! Пришлось сесть за стол!

Она пыталась есть. Каждый кусок останавливался в горле. Тогда Эмма развернула салфетку, будто желая осмотреть, как она заштопана, – и в самом деле попыталась заняться этой работой, пересчитать нитки. И вдруг вспомнила о письме. Неужели она его потеряла? Надо бежать, искать его! Но душевная усталость была настолько велика, что никак не удалось бы выдумать предлог, чтобы уйти из-за стола. Потом на нее напал страх; она испугалась Шарля: он все знает – это ясно. В самом деле, он как-то странно произнес:

– Судя по всему, мы не скоро увидим господина Родольфа.

– Кто тебе сказал? – вздрогнув, проговорила Эмма.

– Кто мне сказал? – повторил он, немного удивляясь ее резкому тону. – Жирар. Я только что встретил его около кафе «Франция». Господин Родольф или уехал, или собирается уехать.

Эмма всхлипнула.

– Что ж ты удивляешься? Он всегда время от времени уезжает поразвлечься. Честное слово, он правильно делает! Человек холостой, с состоянием... Он не плохо забавляется, наш друг. Настоящий кутила. Господин Ланглуа рассказывал мне...

Тут вошла служанка, и он из приличия замолчал.

Фелиситэ собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не замечая, как покраснела жена, приказал подать их, взял один и тут же надкусил.

– Какая прелесть! – сказал он. – Возьми-ка, попробуй.

И протянул ей корзинку; она тихонько оттолкнула его руку.

– Ты только понюхай. Какой аромат! – говорил он, все подвигая корзинку к Эмме.

– Душно! – закричала она, вскочив с места.

Но тут же подавила судорогу усилием воли.

– Пустяки! – сказала она. – Пустяки! Просто нервы! Садись, ешь.

Она боялась, что ее начнут расспрашивать, ухаживать за нею, не дадут ей покоя.

Шарль послушно сел, стал выплевывать косточки в кулак и складывать на тарелку.

Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

В самом деле, Родольф после долгих размышлений решил отправиться в Руан. А так как из Ла-Юшетт в Бюши нет иной дороги, как через Ионвиль, то ему и пришлось проехать через городок. Эмма узнала его по свету фонарей, словно две молнии прорезавших сумерки.

На шум в доме прибежал аптекарь. Стол со всеми тарелками был опрокинут: соус, жаркое, ножи, солонка, судок с прованским маслом валялись на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала; Фелиситэ дрожащими руками расшнуровывала барыню, у которой корчилося все тело.

– Бегу, – сказал аптекарь, – в лабораторию за ароматическим уксусом.

А когда Эмма, глубоко вдохнув из пузырька, открыла глаза, аптекарь сказал:

– Я был уверен. Этим можно и мертвого поднять.

– Скажи что-нибудь! – умолял Шарль. – Скажи что-нибудь! Приди в себя! Это я, твой Шарль, я люблю тебя! Ты меня узнаешь? Смотри, вот твоя дочка, поцелуй ее!

Девочка тянулась ручонками к матери, хотела обнять ее за шею. Но Эмма отвернувшись и прерывающимся голосом сказала:

– Нет, нет... Никого!

И снова потеряла сознание. Ее отнесли в постель.

Она лежала плашмя, приоткрыв рот, смежив веки, вытянув руки, белая и неподвижная, как восковая статуя. Слезы струились из ее глаз, медленно стекая двумя ручейками на подушку.

Шарль стоял в глубине алькова, а рядом с ним аптекарь, который хранил вдумчивое молчание, особенно приличное во всех тяжелых случаях жизни.

– Успокойтесь, – сказал он, подталкивая врача под локоть, – мне кажется, припадок прошел.

– Да, пусть теперь немного отдохнет! – отвечал Шарль, глядя, как она спит. – Бедняжка!.. Бедняжка!.. Снова захворала!

Тогда Омэ спросил, как все это случилось. Шарль ответил, что ее схватило вдруг, когда она ела абрикосы.

– Странно, – заговорил аптекарь. – Но возможно, что именно абрикосы и послужили причиной обморока! Есть ведь натуры необыкновенно восприимчивые к известным запахам. Это даже прекрасная проблема для изучения как с патологической, так и с физиологической стороны. Попы отлично знают всю важность подобных явлений: недаром они всегда пользуются при своих церемониях ароматическими веществами! Этим они притупляют разум и вызывают экстатическое состояние, что, впрочем, и не трудно достижимо у особ слабого пола: они гораздо более хрупки, чем мужчины. Известны примеры, когда женщины лишались чувств от запаха жженого рога, или свежего хлеба, или...

– Не разбудите ее! – шепнул Бовари.

– Этой аномалии, – продолжал аптекарь, – подвержены не только люди, но и животные. Так, например, вам, конечно, известно, как своеобразно действует на похоть представителей породы кошачьих *pereta cataria*, называемая в просторечье котовиком, или степною мятой. С другой стороны, чтобы привести пример, за достоверность которого я могу поручиться, скажу, что один из моих бывших товарищей, некто Бриду, проживающий ныне в Руане по улице Мальпалю, владеет собакой, которая, если ей поднести к носу табакерку, тотчас падает в судорогах. Он даже нередко делает этот опыт в присутствии друзей, в своей беседке, что в роще Гильом. Можно ли поверить, чтобы обыкновенное чихательное средство могло производить подобные потрясения в организме четвероногого! Не правда ли, в высшей степени любопытно?

– Да, – не слушая, отвечал Шарль.

– Это доказывает, – с благодушно-самодовольной улыбкой заключил аптекарь, – что неправильности нервной системы бесконечно разнообразны. Что же касается вашей супруги, то, признаюсь, она всегда казалась мне необычайно чувствительной. Поэтому я не стану советовать вам, друг мой, ни одного из тех квази-лекарств, которые, якобы воздействуя на симптомы, воздействуют на самый темперамент. Нет, прочь бесполезные медикаменты! Режим – вот главное! Больше успокоительных, смягчительных, болеутоляющих! А кроме того, не думаете ли вы, что, быть может, следовало бы поразить ее воображение?

– Чем? Как? – сказал Бовари.

– О, это вопрос. Это действительно вопрос! That is the question, как недавно было написано в газете!

Но тут Эмма пришла в себя и закричала:

– А письмо? Письмо?

Это приняли за бред. В полночь он начался и на самом деле: явно определилось воспаление мозга.

Сорок три дня не отходил Шарль от жены. Он забросил всех больных; он не ложился спать, он только и делал, что щупал пульс, ставил горчичники и холодные компрессы! Он гонял Жюстена за льдом до самого Нефшателя; лед по дороге таял, Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в отчаянии. Больше всего пугал его у Эммы упадок сил: она ни слова не говорила, ничего не слышала, и казалось даже, что она не ощущает страданий, словно и тело ее, и душа одновременно отдыхали от всего пережитого.

Около середины октября она могла сидеть в постели, прислонившись к подушкам. Когда она съела первую тартинку с вареньем, Шарль расплакался. Силы понемногу возвращались к ней. Она начала вставать днем на несколько часов, и однажды, когда она чувствовала себя

особенно хорошо, он попробовал пройти с ней под руку по саду. Песок на дорожках был усыпан опавшим листом; Эмма ступала осторожно, волоча по земле туфли, и, тихо улыбаясь, склонялась на плечо Шарля.

Они ушли в конец сада, к террасе. Эмма медленно выпрямилась и, прикрыв глаза рукой, поглядела вдаль, на самый горизонт; но там ничего не было видно, кроме горячей травы, дымившейся на холмах.

– Ты устанешь, голубка, – сказал Бовари.

И, тихонько подталкивая ее к беседке, добавил:

– Сядь на скамейку, тут тебе будет хорошо.

– О нет! Не здесь, не здесь! – замирающим голосом произнесла она.

У нее закружилась голова, и к вечеру болезнь возобновилась, – правда, теперь течение ее было неопределеннее и характер сложнее. Эмма чувствовала боли то в сердце, то в груди, то в мозгу, в руках, в ногах; появилась рвота, которая Шарлю показалась первым признаком рака.

Ко всему этому у бедняги доктора были еще и денежные затруднения!

XIV

Прежде всего он не знал, как ему рассчитаться с г-ном Омэ за все взятые лекарства; правда, как врач он мог и не платить, но при одной мысли об этом лицо его заливалось краской. Кроме того, теперь, когда хозяйничать стала кухарка, домашние расходы достигли ужасающих размеров; счета сыпались дождем; поставщики роптали; больше всех изводил Шарля г-н Лере. В самые тяжелые дни болезни Эммы он воспользовался этим обстоятельством, чтобы раздуть счет, и немедленно принес плащ, спальный мешок, два чемодана, вместо одного, и еще множество всяких вещей. Сколько ни говорил Шарль, что все это ему не нужно, торгаш нагло отвечал, что вещи ему заказаны и обратно он их не возьмет; да и можно ли огорчать супругу во время ее выздоровления? Пусть господин доктор подумает. Словом, он решил скорее подать в суд, чем отступить от своих прав и унести товар обратно. Тогда Шарль распорядился отослать всё ему в магазин; Фелиситэ позабыла, у самого Шарля было много других забот, – и об этом перестали думать. Г-н Лере снова пошел на приступ и, то грозя, то жалуясь, поставил дело так, что в конце концов Бовари выдал ему вексель сроком на шесть месяцев. Но едва он подписал этот вексель, как у него возникла смелая мысль – занять у г-на Лере тысячу франков. И вот он смущенно спросил, нет ли способа достать эти деньги, причем обещал вернуть их через год с любыми процентами. Лере побежал в свою лавку, принес оттуда золотые и продиктовал новый вексель, по которому Бовари объявлял себя повинным уплатить по его приказу 1 сентября следующего года сумму в тысячу семьдесят франков; вместе с уже оговоренными ставось восемьдесятю это составляло ровно тысячу двести пятьдесят. Таким образом, ссудив деньги из шести процентов плюс четверть суммы за комиссию да еще заработав не меньше трети на самих товарах, г-н Лере должен был за год получить сто тридцать франков прибыли. Но он надеялся, что этим дело не кончится, что Бовари не удастся оплатить векселя в срок, что их придется переписать и что его денежки, подкормившись у врача, словно на курорте, когда-нибудь вернутся к нему такой солидной кругленькой суммой, что от них затрещит мешок.

Ему вообще везло. Он получил с торгов поставку сидра для нефшательской больницы; г-н Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, и он мечтал завести новое дилижансное сообщение между Аргейлем и Руаном: оно, конечно, очень скоро вытеснит старую колымагу «Золотого льва». Его дилижансы будут ходить быстрее, стоит пассажирам дешевле и брать больше багажа, так что это отдаст в его руки всю ионвильскую торговлю.

Шарль не раз думал, откуда достать в будущем году столько денег. Он метался, выискивал всякие средства, – например, обратиться к отцу или что-нибудь продать. Но отец не стал бы его и слушать, а самому продавать было нечего. Препятствия казались такими огромными, что

он поскорее отворачивался от столь неприятной темы размышлений. Он упрекал себя, что из-за денег забывает Эмму, словно все его мысли должны были полностью принадлежать этой женщине, и подумать о чем бы то ни было, кроме нее, значило что-то у нее похитить.

Зима стояла суровая. Выздоровление г-жи Бовари тянулось медленно. В хорошую погоду ее придвигали в кресле к окну – к тому, которое выходило на площадь, так как сад внушал ей теперь отвращение, и со стороны сада жалюзи были всегда спущены. Эмма заставила мужа продать лошадь: все, что она любила прежде, теперь ей не нравилось. Казалось, ее мысли ограничивались лишь заботой о самой себе. Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила служанке, расспрашивала ее о подогревавшихся на кухне декоктах или болтала с ней. Снег, лежавший на рыночном навесе, отбрасывал в комнату белый, неподвижный отсвет; потом начались дожди. И каждый день Эмма с каким-то беспокойством ожидала неизменного повторения крохотных событий, не имевших к ней, впрочем, никакого отношения. Самым значительным из них был вечерний приезд «Ласточки». Тогда кричала хозяйка, ей отвечали другие голоса, и фонарь Ипполита, разыскивавшего на брезентовом верху баулы, блестел во мраке звездой. В полдень являлся с работы Шарль; позже он уходил; потом Эмма ела бульон, а под вечер, около пяти часов, возвращались из школы дети. Они волочили деревянные башмаки по мостовой и все как один по очереди стучали линейками по щеколдам навеса.

В этот час и навещал ее г-н Бурнисьен. Он осведомлялся о ее здоровье, рассказывал новости и в легкой, благодушной, не лишенной приятности болтовне склонял ее к религии. Эмма чувствовала себя уютнее от одного вида его сутаны.

В самый разгар болезни ей однажды показалось, что начинается агония, и она захотела причаститься. И в то время как в комнате шли приготовления к таинству, как устраивали алтарь из загроможденного лекарствами комода, а Фелиситэ разбрасывала по полу георгины, Эмма чувствовала, что на нее спускается нечто мощное, избавляющее от всех печалей, от всех земных впечатлений, от всех чувств. Облегченная плоть была лишена мыслей, начиналась иная жизнь. Эмме казалось, что все ее существо, возносясь к богу, растворяется в небесной любви, как рассеивается в воздухе горящий ладан. Постель окропили святой водой; священник вынул из дароносицы белую облатку; и, лишась чувств от неземной радости, Эмма протянула губы, чтобы принять «тело господне». Вокруг нее, словно облако, мягко вздувались занавеси алькова, и лучи двух горевших на комодке свечей казались ослепительными венцами. Тогда она уронила голову на подушки, и ей почудилось в беспредельных просторах пение серафических арф; а в лазурном небе, на золотом троне, среди святых с зелеными пальмовыми ветвями в руках, она увидела бога-отца, гремящего и сверкающего величием. По его знаку огнекрылые ангелы слетали на землю, чтобы унести Эмму в своих объятиях.

Это сияющее видение осталось в ее памяти как самое прекрасное из всего, что можно вообразить; и вот теперь она силилась вновь пережить это все еще длившееся ощущение, хотя бы не с прежней необычайной силой, но с той же глубокою сладостью. Душа ее, разбитая гордыней, находила, наконец, отдых в христианском смирении, и, наслаждаясь собственной слабостью, Эмма созерцала в себе то уничтожение воли, ту покорность, которая должна была стать широкими вратами для благодати. Так, значит, вместо земного счастья можно узнать более высокие радости, иную любовь, стоящую превыше всякой любви, любовь непрерывную, беспредельную, вечно растущую! Среди прочих обманчивых надежд Эмме открылось то состояние чистоты, когда душа витает над землею, сливаясь с небом. К этому она стремилась. Она хотела стать святой, купила себе четки, стала носить ладанки; она мечтала повесить в своей комнате, у изголовья, отделанный изумрудами ковчежец и каждый вечер прикладываться к нему.

Кюре был в восторге от таких настроений, хотя и полагал, что чрезмерный религиозный пыл Эммы может в конце концов привести ее к ереси или даже к экстравагантным поступкам. Но, будучи не слишком осведомлен в этих вещах, поскольку они выходили за известные

установленные пределы, он написал книгопродавцу монсеньора, г-ну Булару, прося его прислать *что-нибудь замечательное для весьма развитой особы женского пола*. Книгопродавец, с таким же безразличием, как если бы дело шло о скобяном товаре для негров, упаковал ему без разбора все, что в тот день было ходового по части благочестивых книг. Тут были и учебники в вопросах и ответах, и высокомерные памфлеты в духе г-на де Местра, и своеобразные романы слащавого стиля в розовых переплетах, сфабрикованные вдохновенными семинаристами или раскаявшимися синими чулками. Он прислал и «Подумайте об этом как следует», и «Светского человека у ног девицы Марии, сочинение г. де***, разных орденов кавалера», и «Книгу для юношества о заблуждениях Вольтера» и прочее.

Г-жа Бовари вообще не обладала еще достаточной ясностью мыслей, чтобы серьезно взяться за что бы то ни было; и к тому же она набросилась на это чтение слишком жадно. Обрядовые предписания вызвали в ней протест; резкие полемические сочинения не понравились ей тем озлоблением, с которым они преследовали людей, ей неизвестных; а одобренные религией мирские рассказы произвели на нее впечатление такого полного незнания жизни, что именно они нечувствительно отвратили ее от тех истин, которым она ждала доказательств. Однако она продолжала упорствовать, и когда книга падала у нее из рук, она воображала себя во власти самой изысканной католической меланхолии, какую только может испытать возвышенная душа.

А память о Родольфе ушла в самую глубь ее сердца и покоилась там торжественнее и неподвижнее, чем царственная мумия в подземном саркофаге. От этой набальзамированной великой любви исходило какое-то благоухание; охватывая собою все, оно пропитывало запахом нежности ту непорочную атмосферу, в которой хотела жить Эмма. Преклоняя колени на своей готической скамеечке для молитв, она обращала к господу те же томные слова, которые некогда шептала любовнику в самозабвении преступной страсти. Этим она хотела вызвать порыв веры, но небо не посылало ей никакой улады, и она вставала разбитая, со смутным чувством какого-то огромного обмана. «Эти бесплодные усилия, – думала она, – новая заслуга»; и, гордясь своей набожностью, Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, о славе которых она мечтала над портретом де ла Вальер и которые, с таким величием неся за собою расшитые шлейфы своих длинных платьев, удалялись в одиночество изливать к ногам Иисуса слезы израненного жизнью сердца.

И вот она вся отдалась чрезмерной благотворительности. Она шила платья для бедных; она посылала роженицам дрова; а однажды Шарль, вернувшись домой, застал на кухне за супом каких-то трех бездельников. Она снова взяла в дом свою дочь, – во время болезни муж отослал ее к кормилице. Она решила сама выучить ее читать; сколько ни капризничала Берта, она не раздражалась. То была нарочитая кротость, безусловное всепрощение. Речь Эммы, о чем бы она ни говорила, пестрела молитвенными выражениями.

Она спрашивала девочку:

– Животик у тебя больше не болит, мой ангел?

Г-жа Бовари-мать не знала теперь, к чему и придаться, если только не считать этой мании возиться с фуфайками для сирот, когда в доме сколько угодно своего нечиненного белья. Но старушка была замучена семейными ссорами и с удовольствием отдыхала в спокойном доме сына. Чтобы не видеть кошунств мужа, который в страстную пятницу никогда не забывал заказать себе печеночную колбасу, она даже прожила здесь до конца пасхи.

Свекровь несколько укрепляла Эмму прямою своих суждений и серьезностью манер; а кроме нее, Эмма почти каждый день встречалась и с другими людьми. То были г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Омэ, которая никогда не верила сплетням, ходившим насчет соседки. Навещали Эмму и маленькие Омэ; с ними приходил Жюстен. Он поднимался вместе с детьми в комнату и все время молча, неподвижно стоял у порога. Иной раз г-жа Бовари, не обращая на него внимания, принималась

за туалет. Прежде всего она вынимала из волос гребень и резко встряхивала головой. Когда бедный мальчик впервые увидел, как ее черные волосы волной упали ниже колен, это было для него как бы неожиданным вступлением в какой-то новый, необычайный, пугающий своим блеском мир.

Эмма, конечно, не замечала его молчаливого поклонения, его робости. Она и не подозревала, что тут, рядом с нею, под этой грубой холщовой рубашкой, в этом открытом действию ее красоты юношеском сердце трепетала исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, теперь она была ко всему так равнодушна, слова ее стали так сердечны, а взгляд так высокомерен, манеры так неодинаковы, что в ней уже нельзя было отличить эгоизм от милосердия, испорченность от добродетели. Так, однажды вечером, когда служанка, запинаясь и не находя предлога, просила отпустить ее погулять, она вспыхнула, а потом вдруг сказала:

– Так ты его любишь?

И, не дожидаясь ответа от покрасневшей Фелиситэ, печально добавила:

– Ну что же, беги, забавляйся...

В начале весны она, несмотря на возражения г-на Бовари, велела перекопать весь сад; впрочем, муж был счастлив, что она проявляет хоть какую-то волю. И чем больше она поправлялась, тем воля ее становилась тверже. Прежде всего Эмма нашла способ выпроводить кормилицу, тетушку Ролле, которая во время ее выздоровления привыкла ходить на кухню вместе с двумя своими питомцами и зубастым, как людоед, пенсионером. Затем она отделалась от семейства Омэ, постепенно освободилась от всех прочих посетителей и даже перестала, к великому одобрению аптекаря, так усердно посещать церковь.

– Вы немножко вдалились было в поповщину, – дружески сказал он ей однажды.

Г-н Бурнисьен появлялся, как и прежде, каждый день после урока катехизиса. Он предпочитал сидеть в саду, дышать свежим воздухом в зеленом уголке, – так называл он беседку. Как раз в это время возвращался домой Шарль. Было жарко; приносили сладкий сидр, и оба пили за полное выздоровление г-жи Бовари.

Тут же, то есть немного пониже, у стены террасы, ловил раков Бине. Бовари приглашал его освежиться; сборщик замечательно ловко откупоривал бутылки.

– Бутылку, – говорил он, самодовольно оглядывая все кругом до самого горизонта, – надо держать на столе вот так, совершенно прямо, а потом перерезать проволоочки и понемножку, тихонько-тихонько выталкивать пробку – так, как в ресторанах открывают сельтерскую воду.

Но во время демонстрации сидр часто вырывался из бутылки прямо в лицо гостям, и тогда священник с густым смехом отпускал одну и ту же неизменную шутку:

– Прекрасное его качество просто бросается в глаза.

Он был в самом деле славный малый и даже ничуть не рассердился, когда однажды аптекарь при нем дал Шарлю совет развлечь супругу, повезти ее в руанский театр, где пел знаменитый тенор Лагарди. Когда же Омэ удивился молчанию кюре и захотел узнать его мнение, тот ответил, что считает музыку не столь опасной для нравов, как литературу.

Но фармацевт выступил в защиту изящной словесности. Театр, утверждал он, служит борьбе с предрассудками и под маской удовольствия учит добродетели.

– *Castigat ridendo mores*,⁹ господин Бурнисьен! Так, например, возьмите почти все трагедии Вольтера: они обильно пересыпаны философскими рассуждениями и, таким образом, являются для народа истинной школой морали и дипломатии.

– Я видел когда-то, – сказал Бине, – одну пьесу под названием «Парижский гамен». Там особенно замечателен тип старого генерала: в самом деле ловко придумано! Он отчитывает одного богатого молодого человека, который соблазнил работницу, и она под конец...

⁹ Смехом бичует нравы (лат.)

– Безусловно, – продолжал Омэ, – есть плохая литература, как есть и плохая фармация; но осуждать огулом важнейшее из изящных искусств представляется мне нелепостью, средневековой идеей, достойной тех ужасных времен, когда был заключен в темницу Галилей.

– Я и сам знаю, – возразил кюре, – что есть на свете хорошие сочинения, хорошие авторы. Но уже одно то, что в театре особы обоего пола собираются в очаровательном помещении, изукрашенном всею светскою роскошью, а потом эти языческие переодевания, эти румяна, факелы, изнеженные голоса – все это в конце концов должно порождать некое вольное умонастроение, внушать неподобающие помыслы, нечистые искушения. Таково по крайней мере мнение всех святых отцов церкви. И наконец, – добавил он, разминая на большом пальце понюшку табаку, и голос его вдруг зазвучал таинственно, – если уж церковь осуждает зрелище, то, значит, она права; нам остается лишь подчиняться ее решению.

– А знаете, почему она отлучает актеров? – спросил аптекарь. – Потому, что в былые времена они открыто конкурировали с обрядовыми церемониями. Да, да, тогда играли, тогда посреди амвона разыгрывали своеобразные фарсы, именуемые мистериями, в которых нередко оскорблялись даже законы приличия.

Священник только глубоко вздохнул, а аптекарь пошел дальше:

– То же самое и в библии. Там... знаете ли... есть немало... пикантных деталей, довольно... игривых вещей...

Г-н Бурнисьен сделал негодующий жест.

– Ах, вы ведь и сами согласитесь, что это не такая книга, которую можно было бы дать в руки девушке. Я, например, был бы очень огорчен, если бы моя Аталия...

– Но ведь библию, – нетерпеливо воскликнул кюре, – не мы рекомендуем, а протестанты!

– Все равно! – заявил Омэ. – Я удивляюсь, что в наши дни, в наш просвещенный век, есть еще люди, упорно возбраняющие совершенно безобидный вид умственного отдохновения. Театр благотворно действует на моральное, а иногда и на физическое состояние, – не так ли, доктор?

– Конечно, – небрежно отвечал Бовари.

Быть может, он держался тех же взглядов и никого не хотел обижать, а может быть, и вовсе об этом не думал.

Разговор казался исчерпанным, но тут фармацевт счел уместным нанести последний удар:

– Я знал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы.

– Ну, полноте! – сказал кюре.

– Нет, я знал!

И Омэ повторил раздельно:

– Нет – я – знал.

– Ну, так они поступали плохо, – произнес Бурнисьен: он решил не ссориться.

– Черт возьми! Они еще и не то делают! – воскликнул аптекарь.

– Милостивый государь... – прервал его священник с таким яростным взглядом, что фармацевт струсил.

– Я только хотел сказать, – отвечал он менее грубым тоном, – что наилучшее средство привлечения душ к религии – это терпимость.

– Вот это верно! Это верно! – уступил добряк, снова усаживаясь спокойно на стул.

Но он пробыл здесь не больше двух минут. Как только он скрылся, г-н Омэ сказал врачу:

– Вот это называется поднести понюшку! Видели вы, как я его отделал!.. Словом, послушайте меня, повезите госпожу Бовари на спектакль, хотя бы ради того, чтобы раз в жизни посердить, черт возьми, этих ворон! Я бы и сам сопровождал вас, если бы кто-нибудь мог заменить меня в аптеке. Торопитесь! Лагарди даст только одно представление; он получил чрезвычай-

чайно выгодный ангажемент в Англию. Это, говорят, такой тип! Он купается в золоте! Возит с собою трех любовниц и повара! Все эти великие артисты прожигают жизнь: им необходимо беспорядочное существование, – оно возбуждает фантазию. Но в конце концов они умирают где-нибудь в больнице, ибо не догадываются смолodu накопить денег. Ну, приятного аппетита, до завтра!

Мысль о театре сразу увлекла Шарля; он немедленно заговорил об этом с женой. Та сначала стала отказываться, ссылаясь на утомление, на беспокойство, на расходы; но муж, против обыкновения, не уступил, – так он был уверен, что это развлечение принесет ей пользу. Никаких препятствий он не видел: мать только что прислала триста франков, на которые он даже не рассчитывал, текущие долги были не столь уж велики, а до уплаты г-ну Лере по векселям оставалось так много времени, что об этом не стоило и думать. Вообразив, будто Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль начал настаивать еще упорнее и так надоел ей своими уговорами, что в конце концов она согласилась. И на следующий же день, в восемь часов, оба отправились в «Ласточке».

Аптекарь проводил их вздохом. Его в сущности ничто не задерживало в Ионвиле, но он считал своей обязанностью не трогаться с места.

– Ну, добрый путь, счастливые вы смертные! – сказал он.

И затем обратился к Эмме, на которой было синее шелковое платье с четырьмя воланами:

– Вы прелестны, как настоящий амур! В Руане вы произведете *фурор*.

Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у гостиницы «Красный крест». То был один из тех постоянных дворов, какие обычно встречаются в предместьях провинциальных городов: обширные конюшни, крохотные спаленки, на дворе куры подбирают овес под забрызганными грязью колясками коммивояжеров. Эти добрые старинные трактиры, в которых зимними ночами трещат от ветра подгнившие деревянные галереи, постоянно битком набиты проезжими, полны шума и всяческой еды; черные столы испещрены липкими пятнами от горячего кофе с коньяком, сырые салфетки перепачканы дешевым красным вином, а толстые оконные стекла засижены мухами; от этих заведений всегда отдает деревней, словно от одетых по-городски батраков; здесь перед домом, на улице, устраивается кафе, а с задней стороны – огород. Шарль немедленно пустился в бега. Он путал литерные логи с галеркой, партер с ярусами, просил объяснений, не понимал их, носился от контролера к директору театра, вернулся на постоянный двор, снова пошел в контору – и так несколько раз исходил весь город от театра до бульвара.

Г-жа Бовари купила шляпу, перчатки, букет. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу; и, даже не успев проглотить чашку бульона, они явились к еще запертым дверям театра.

XV

Симметрично разделенная балюстрадами, толпа жалась к стене. На углах соседних улиц огромные афиши повторяли узорными буквами: «*Лючия де Ламермур*... Лагарди... Опера...» Погода стояла прекрасная. Было жарко, все обливались потом, вытаскивали носовые платки и обтирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки тихо колебал фестоны тиковых тентов над дверьми кабачков. Но немного подальше обдувало холодной струей воздуха, пропитанного запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шаретт, полной огромных темных складов, откуда выкатывают бочки.

Боясь показаться смешной, Эмма, прежде чем войти в театр, захотела прогуляться по набережной. Бовари для большей верности держал билет в кулаке, прижимая его в кармане панталон к животу.

Уже в вестибюле у Эммы забилося сердце. Видя, что люди толпой бросились по другому коридору направо, тогда как сама она поднималась по лестнице в первый ярус, она невольно

улыбнулась от тщеславия. Ей доставляло детскую радость трогать пальцем широкие, обитые материей двери; всей грудью вдыхала она пыльный запах театральных коридоров, а усевшись, наконец, у себя в ложе, выпрямила стан с непринужденностью герцогини.

Зал начинал наполняться, многие вынимали из футляров бинокли, и театралы раскладывались между собой, издали замечая друг друга. В искусстве они искали отдыха от торговых забот, но и здесь не могли забыть о своих *делах* и все еще говорили о хлопке, спирте или индиго. Часто попадались спокойные, невыразительные старческие головы; белыми волосами и бледным цветом лица они напоминали серебряные медали с матовым свинцовым налетом. В первых рядах партера выпячивали грудь молодые франты в низко вырезанных жилетах, красуясь своими розовыми или бледно-зелеными широкими галстуками. И г-жа Бовари любовалась сверху, как они затянутыми в желтые перчатки руками опирались на золотой набалдашник трости.

Между тем в оркестре зажглись свечи; с потолка спустилась люстра, заблестели ее граненые подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом вереницей потянулись музыканты, и началась долгая неразбериха: гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загревели литавры, врезались в воздух аккорды медных труб, — занавес поднялся и открыл пейзаж.

То был лесной перекресток; слева, под дубом, протекал ручей. Поселяне и сеньоры с пледами через плечо пели охотничью песню; потом пришел ловчий и, воздев руки к небесам, стал взывать к духу зла; появился другой; затем оба ушли, и охотники запели снова.

Эмма вновь попала в атмосферу книг своей юности, в мир Вальтера Скотта. Ей казалось, будто она слышит, как доносятся сквозь туман и отдаются на вересковых лужайках звуки шотландской волынки. Она помнила роман, это помогало ей разбираться в либретто, и она — фраза за фразой — следила за интригой; а в это время ее неуловимые мысли растворялись в порывах музыкальной бури. Она отдавалась колыханию мелодий, она ощущала, как вибрирует все ее существо, словно смычки скрипачей ударяли по ее нервам. Глаза ее разбегались, она не поспевала любоваться всем сразу: костюмами, декорациями, действующими лицами, намалеванными деревьями, которые дрожали, когда мимо проходил человек, бархатными беретами, плащами, шпагами — всей картиной воображаемой действительности, развернувшейся в гармонии звуков, словно в атмосфере иного мира. Но вот вперед выступила молодая женщина и бросила конюху в зеленом кошелек. Она осталась одна, и тогда, подобно журчанию фонтана или птичьему щебету, запела флейта. Лючия с серьезным видом начала свою соль-мажорную каватину: она жаловалась на любовь, просила у неба крыльев. Эмме тоже хотелось бежать из жизни, унести в едином объятии. И вдруг появился Эдгар — Лагарди.

Он отличался той замечательной бледностью, которая придает пылким южным народам некое величие мраморов. Коричневая куртка облегла его сильный стан; на левом боку бился маленький кинжал в чеканной оправе. Лагарди томно вращал глазами и выставлял напоказ белые зубы. Говорили, что когда-то на биаррицком пляже, где он занимался починкой лодок, он влюбил в себя песнями одну польскую княгиню. Она разорилась из-за него. Тогда он бросил ее ради других женщин, и слава этого сентиментального приключения только поддерживала его артистическую репутацию. Хитрый лицедей никогда не забывал вставлять в рекламы одну-другую поэтическую фразу о своей обаятельности и чувствительности своей души. Прекрасный голос, несокрушимый апломб, больше темперамента, чем интеллекта, больше напыщенности, чем лиризма, — вот свойства этого изумительного шарлатана, в которых были черты и парикмахера и тореадора.

С первой же сцены он привел публику в восторг. Он сжимал Лючию в объятиях, покидал ее, снова возвращался; он казался обезумевшим от отчаяния, его обнаженная шея трепетала и голос то взрывался гневом, то элегически замирал в бесконечной нежности, то разливался мелодиями, полными слез и поцелуев. Эмма глядела на него, перегнувшись через барьер, и

царапала ногтями бархат ложи. Сердце ее точно впитывало эти мелодические жалобы, тянувшиеся под аккомпанемент контрабасов, словно стоны потерпевших крушение в шуме бури. Она узнавала все то опьянение, все те муки, от которых чуть не умерла сама. Голос певицы казался ей лишь отзвуком ее собственных мыслей, а вся эта чарующая иллюзия – какой-то частью ее жизни. Но такой любовью ее никто на земле не любил. В последний вечер, при свете луны, когда они говорили: «До завтра! До завтра!» – он не плакал, как Эдгар. Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить все стретты; влюбленные говорили о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о роке, о надеждах; и когда они пропели финальное «прощай», у Эммы вырвался крик, который слился с трепетом последних аккордов.

– А за что же, – спросил Бовари, – этот сеньор преследует ее?

– Да нет, – отвечала она, – это ее возлюбленный.

– Но ведь он клянется отомстить ее семейству; а вот тот, который только что пришел, тот говорил: «Я Люцию люблю и мыслю, что любим». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь этот маленький, безобразный человечек в шляпе с петушиным пером – ее отец?

Во время дуэта-речитатива, когда Джильберт излагает своему хозяину Аштону план отвратительных хитросплетений, Шарль увидел подложное обручальное кольцо, которое должно было обмануть Люцию, и, несмотря на пояснения Эммы, решил, что это любовный сувенир от Эдгара. Впрочем, он и сам признавался, что не слишком-то понимает всю историю из-за музыки: она очень мешает разбирать слова.

– Не все ли равно? – сказала Эмма. – Замолчи!

– Дело в том, – снова заговорил он, наклоняясь к ее плечу, – что я, ты знаешь, всегда люблю во всем отдавать себе отчет.

– Замолчи! Замолчи! – нетерпеливо прервала его Эмма.

Вошла Люция; женщины не столько вели, сколько несли ее; в ее волосы вплетен был флердоранж, она казалась бледнее своего белого атласного платья. Эмма вспомнила день своей свадьбы. Она вновь увидела себя там, среди хлебов, на тропинке, по которой все шли в церковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как эта девушка? Нет, она была весела, она не видела, в какую пропасть готова броситься... Ах, если бы еще тогда, во всей свежести своей красоты, еще до грязи брака и разочарований измены, Эмма могла опереться в жизни на чье-то большое, верное сердце, – тогда добродетель слилась бы с нежностью, а сладострастие с долгом, тогда она не уронила бы столь высокого счастья. Но такое блаженство, конечно, лишь обман, нарочно придуманный, чтобы отнять надежду у всех желаний. Теперь она знала всю мелочность преувеличиваемых искусством страстей. И вот, пытаясь отогнать от них свои мысли, Эмма хотела в этом изображении ее собственных страданий видеть лишь приятную для глаза пластическую фантазию: она внутренне улыбалась со снисходительной жалостью, когда в глубине сцены из-за бархатной занавески появился мужчина в черном плаще.

Он сделал жест, его широкополая испанская шляпа упала, и тотчас оркестр и певцы начали секстет. Пылая яростью, Эдгар покрывал все звуки своим звонким, чистым голосом. Аштон бросал ему в лицо баритональные ноты человекоубийственных вызовов, высоко неслись жалобы Люции, Артур модулировал в среднем регистре, глубокий бас священника гудел, как орган, а женские голоса очаровательно подхватывали его слова хором. Стоя в ряд, все актеры жестикулировали, и гнев, месть, ревность, ужас, милосердие, изумление вырывались в мелодиях из их открытых уст. Оскорбленный любовник потрясал шпагой; от бурного дыхания вздымались его кружевные брыжи, и, звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с раструбами у щиколоток, он огромными шагами расхаживал по подмосткам. «В нем, – думала Эмма, – должен быть неиссякаемый источник любви; иначе он не мог бы изливать ее на толпу такими мощными потоками». Все ее попытки к пренебрежению рассеялись под обаянием поэтической роли, и, стремясь сквозь иллюзию вымысла к живому человеку, она пыталась вообразить его жизнь – эту громкую, необычайную, блистательную жизнь, которою и она могла бы

наслаждаться, если бы того захотел случай. Они узнали бы, они полюбили бы друг друга! С ним она странствовала бы из столицы в столицу по всем государствам Европы, разделяя его усталость и его славу, подбирая брошенные ему цветы, своими руками вышивая ему костюмы; каждый вечер она пряталась бы в ложе за позолоченной решеткой и, не дыша, впивала бы в себя изливания его души. А он пел бы только для нее одной; играя, он глядел бы на нее со сцены. Но тут ее охватило безумие: он глядит на нее, глядит! Ей захотелось броситься в его объятия, найти приют в его силе, словно в воплощении самой любви, и сказать, крикнуть ему: «Похити меня, увези меня, уедем! Тебе, тебе весь мой пыл, все мои мечты!»

Занавес опустился.

Запах газа смешивался с человеческим дыханием, от вееров делалось еще душнее. Эмма хотела пройтись, но коридоры были забиты народом, и она, задыхаясь от сердцебиения, снова упала в кресло. Боясь, как бы с ней не случился обморок, Шарль побежал в буфет за оршадом.

Он еле добрался оттуда в ложу: так как стакан он держал обеими руками, то его на каждом шагу задевали за локти; он даже вылил почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной дамы. Почувствовав, как по спине у нее потекла холодная жидкость, она так раскричалась, словно ее убивали. Муж ее, хозяин руанской прядильной фабрики, набросился на неловкого незнакомца; и пока жена вытирала платком свое великолепное платье из вишневой тафты, он грубо ворчал что-то о проторях, убытках и возмещении. Наконец Шарль попал к Эмме и, задыхаясь, сказал:

– Честное слово, я думал, что так там и останусь! Народу, народу! – И добавил: – А угадай, кого я встретил наверху!.. Господина Леона.

– Леона?

– Его, его. Он придет засвидетельствовать свое почтение.

Как раз при этих словах в ложу вошел бывший ионвильский клерк.

Он протянул руку с непринужденностью аристократа, и г-жа Бовари машинально взяла ее, поддавшись, конечно, влиянию более сильной воли. Этой руки она не касалась с того весеннего вечера, когда дождь накапывал на зеленую листву и они прощались, стоя у окна. Но тут она вспомнила о приличиях, сразу сбросила с себя навеянное прошлым оцепенение и быстро зашебетала:

– Ах, здравствуйте... Как! Вы здесь?

– Тише! – крикнул кто-то из партера: уже начинался третий акт.

– Так вы в Руане?

– Да.

– И давно?

– Вон из залы! Вон!

На них оборачивались; они замолчали.

Но с этого момента Эмма перестала слушать; хор гостей, сцена Аштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт – все прошло для нее в каком-то отдалении, инструменты словно потеряли звучность, актеры отодвинулись вдаль. Она вспомнила игру в карты на вечерах у аптекаря, прогулку к кормилице, чтение вслух в беседке, разговоры наедине у камина – всю эту бедную любовь, такую мирную и долгую, такую скромную и нежную, но все же забытую. Зачем же он снова вернулся? Какое стечение случайностей вновь привело его в ее жизнь? Он сидел за нею, опершись плечом на перегородку; время от времени теплое его дыхание касалось волос Эммы, и она вздрагивала.

– Вас это занимает? – спросил он, наклоняясь к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.

Она небрежно ответила:

– О нет, не слишком.

Тогда он предложил уйти из театра и поесть где-нибудь мороженого.

– Ах, нет! Подождем еще! – сказал Бовари. – У нее волосы распущены: сейчас, верно, начнется трагедия.

Но сцена безумия совсем не интересовала Эмму, а игра певицы казалась ей неестественной.

– Слишком уж громко она кричит, – сказала она, повернувшись к Шарлю; тот внимательно слушал.

– Да, может быть... немножко, – отвечал он, колеблясь между своим откровенным удовольствием и всегдашним почтением к взглядам жены.

Леон вздохнул и сказал:

– Какая жара!..

– В самом деле, невыносимо...

– Тебе нехорошо? – спросил Бовари.

– Да, душно. Пойдем.

Г-н Леон осторожно набросил ей на плечи длинную кружевную шаль, и все трое вышли на набережную, где уселись на вольном воздухе, перед витриной кафе.

Сначала разговор вращался вокруг нездоровья Эммы, хотя она время от времени прерывала Шарля, говоря, что боится наскучить г-ну Леону; затем тот рассказал, что приехал в Руан на два года поработать в большой конторе и набить руку в делах: в Нормандии они бывают иного рода, чем в Париже. Леон стал расспрашивать о Берте, о семействе Омэ, о тетушке Лефрансуа; и так как в присутствии мужа больше говорить было не о чем, то беседа скоро оборвалась.

Но вот стала проходить публика из театра; все мурлыкали или даже полным голосом орали: «Лючия, небесный ангел!» Тогда Леон, разыгрывая из себя любителя, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурины, Рубини, Персиани, Гризи; по сравнению с ними Лагарди, при всем том шуме, который был поднят вокруг него, ничего не стоил.

– Однако, – прервал его Шарль, попивая маленькими глотками шербет с ромом, – говорят, что в последнем акте он совершенно восхитителен; я жалею, что ушел, не дождавшись конца: мне начинало нравиться.

– Ну, что ж, – сказал клерк, – скоро он даст еще одно представление.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.